

## Москва, Серебряный переулоч

«Нам, нынешним, трудно понять славянофильство, потому что мы вырастаем совершенно иначе — катастрофически. Между нами нет ни одного, кто развивался бы последовательно, каждый из нас не вырастает естественно из культуры родительского дома, но совершает из неё головокружительные скачки или движется многими такими скачками. Вступая в самостоятельную жизнь, мы обыкновенно уже ничего не имеем наследственного, мы всё переменили в пути — навыки, вкусы, потребности, идеи; редкий из нас даже остаётся жить в том месте, где провёл детство, и почти никто — в том общественном кругу, к которому принадлежали его родители. Это обновление достаётся нам не дёшево; мы, как растения, пересаженные — и, может быть, даже не раз — на новую почву, даём и бледный цвет, и тощий плод, а сколько гибнет, растеряв в этих переменах и здоровье, и жизненную силу! Я не знаю, что лучше: эта ли беспощадная гибкость или тирания традиции. Во всяком случае, разница между нами и теми людьми очевидна; в биографии современного деятеля часто нечего сказать о его семье, биографию же славянофила необходимо начи-

нать с характеристики дома, откуда он вышел». Эти слова из гершензонской «Грибоедовской Москвы» в значительной, а может быть, даже в ещё большей степени относятся к поколению, к которому я принадлежу. О нет, о своей семье, надеюсь, успею вспомнить и сказать не так уж мало — даже в свои восемьдесят, когда, увы, слишком многое потускнело или даже вовсе стёрлось из памяти.

И всё же — сколько здесь было вынужденной невнятицы и недомолвок, оборачивавшихся в дотошных анкетах советских десятилетий то прочерком, то прямой утайкой, попыткой причислить себя к какой-нибудь более безобидной социальной категории, чем это было на самом деле. Начну с прочерка, сделанного в той графе моей собственной метрики, где речь идёт о родителях. — Почему это я оказался безотцовщиной? Незаконный сын? Возможно. 1924 год, НЭП. На незарегистрированные браки ещё косо не смотрят. Но что за резон был в том, чтобы скрывать «грех»? Нежелание отца ничем не связывать себя с новорождённым — от фамилии до «презренных алиментов»? Мать была человеком гордым и скрытным. Вполне вероятно, она сама по каким-то причинам вычеркнула этого мужчину из своей — и моей —

жизни. Удивительное дело: жила она в многонаселённой квартире, но никто из её обитателей никогда не видел моего родителя кроме, как гласит легенда, дряхлой прабабушки, Елизаветы Семёновны Краевской, которая, похоже, ничего толком о нём сказать не могла или попросту не разглядела. Видать, чисто случайной и слишком краткой была их встреча. Ну, ладно, со мной что-то прояснилось. Но мать-то безотцовщиной отнюдь не была! Статную, ладную, импозантную фигуру в офицерском мундире — её отца и моего деда — можно лицезреть на сохранившейся фотографии рядом с братом Сергеем и сестрой Элеонорой.

Мне его увидеть не довелось, как и ему меня, но многие из старших родичей отлично его запомнили. Вот что рассказывала одна из моих тёток — Ольга Михайловна Старикова, урождённая Краевская: «Осип Ефимович Турков был родом из крестьянской семьи, настолько состоятельной, что двум своим сыновьям, Осипу и Сергею, родители дали среднее сельскохозяйственное образование, а дочь Элеонора Ефимовна училась в прогимназии. Осипа Ефимовича я видела только до 1914 года. Отлично помню его крупную фигуру, громкий голос, весёлый смех. Он всегда был душой общества». В той же Горецкой земледельческой школе, что и он, учился будущий отец рассказчицы — Михаил Николаевич, один из младших отпрысков старого обедневшего дворянского рода. Вме-

сте с другими соучениками О. Е. Турков часто бывал в имении Краевских — Панькове. Молодёжь любила петь хором, в котором выделялись Михаил со старшей сестрой Юлией. «По рассказам нашего отца, — продолжает Ольга Михайловна, — у неё был красивый, мягкий, низкий голос».

По страстной любви эта дворянка вышла замуж за крестьянского сына, и уже некого спросить, воспринималось ли это тогда как мезальянс. Молодые уехали во Владимир, где Осип Ефимович стал уездным агрономом, и у них 12 мая 1903 года родилась дочь Ольга, моя будущая мать. «После Владимира, — продолжает О. М. Старикова, — Осип Ефимович служил управляющим имением Удельного ведомства (т.е. принадлежащим царской фамилии) в Чембарском уезде Пензенской губернии. Называлось это большое имение с весьма сложным хозяйством Полибино. Жили там Турковы действительно по-царски. Большое жалование, прекрасная усадьба, масса знакомых. Осип Ефимович любил общество, карты, охоту, был покорителем женских сердец. Тётя Юля развлечений не любила. В 1914 году Осипа Ефимовича призвали в действующую армию (он был прапорщиком запаса, каковых тогда очень много было среди интеллигенции). С войны он не вернулся». С какой войны, с мировой, где он, кажется, был ранен в руку? Да нет — речь идёт уже о гражданской.

Тётка моя по «турковской» линии, Елена Сергеевна, только в самом

конце минувшего века обмолвилась, что Осип Ефимович служил в белой армии. Но я уже в конце тридцатых годов слышал об этом всё от того же Михаила Николаевича Краевского, моего крёстного. Он рассказывал о своей встрече с дедом в Крыму уже после поражения Врангеля, когда сам, вполне штатский человек, отведаль застенков и видел, и слышал, как других и вовсе «к стенке» вели. А уж офицеру, да ещё с авантюрной жилкой, которая явно играла в моём деде, печальной участи и вовсе было не миновать. Однажды он уже был на грани поимки, как рассказывал Михаилу Николаевичу, но сумел лихо вывернуться.

И с той поры — ни слуху, ни духу! Правда, много позже дошло какое-то смутное известие, что якобы уцелел, сменил фамилию и затаился, осел где-то на юге. По тем временам слух этот не решились проверять, а Юлии Николаевне ничего не сказали, чтобы сердце не бередить... Он него же самого, насколько мне известно, ни вестей, ни какой-либо помощи не было никогда. Да, может, он и впрямь погиб — в гражданскую ли, позже ли... Вдова (вдова ли?) вместе с дочерью была из Полибина изгнана, приютилась было в купленном братьями Турковыми до революции небольшом имении Свищёвке той же Пензенской губернии, но потом перебралась в Москву, к брату Александру Николаевичу. «Больше им негде было голову преклонить», — говорит О. М. Старикова.



А. М. Турков. Пенза. 1989 г.

Доктор А. Н. Краевский с женой Марией Николаевной, урождённой Ивановой, и сыном Николаем, будущим знаменитым деятелем в разнообразных областях медицины, от патологоанатомии до «новшества» XX века — лучевой болезни, занимал до революции пятикомнатную квартиру в большом по тогдашним меркам, четырёхэтажном доме в тихом Серебряном переулке, выходившем на Арбат. Теперь он приютил у себя множество родичей — мать Елизавету Семёновну, сестру Юлию с дочерью да ещё целый девичий цветник — до-

черей брата Михаила: Ольгу, Елену, Наталью с их братом Иваном в при-  
дachu. Эта четвёрка не смогла ужиться  
с мачехой — скупой и нелюбимой  
Натальей Николаевной, на которой  
отец всего этого выводка женился  
после смерти её и М. Н. Краевской  
сестры — своей первой жены Людми-  
лы. Помимо исключительной добро-  
ты хмуроватого с виду «дяди Сани»  
(так его звали не только племянни-  
цы с племянником, но в подражание  
им — уже их собственные дети, пока  
он с напускной строгостью не «пове-  
лел» нам впредь именовать его де-  
душкой), это гостеприимство имело  
тогда и весьма существенный резон:  
повсеместно шло так называемое  
«уплотнение» квартир, вселяли со-  
вершенно чужих людей, и куда лучше,  
чтобы вокруг были только свои! Те-  
перь Серебряный переулок переруб-  
лен Новым Арбатом, и это довершило  
все безрадостные перемены, которые  
происходили с ним на моих глазах.  
Некогда там главней всего, как люби-  
ли говорить дети, была большая или  
тогда казавшаяся мне таковой цер-  
ковь. Рядом с ней зеленел небольшой  
сад, а чуть далее стояли вполне сель-  
ского вида домики с палисадниками.  
Здесь жили и местный причт, и про-  
стые обыватели, например, егерь  
Лука, «воспитатель» всех собак, при-  
надлежавших дяде Сане и Колюше,  
как мы все звали его сына, заядлым  
охотникам (будучи ребёнком, бывало,  
выхожу на кухню и вижу зайцев или  
другие трофеи). Потом церковь за-  
крыли, а в начале тридцатых — и во-

все сломали, надолго обезобразив  
переулок грудой развалин, в которых  
помнятся вороха грязных обрывков  
«печатного слова» (видимо, закрытая  
церковь успела побывать и складом,  
как тогда водилось). Исчезли и почти  
все окружающие домики, а немногие  
уцелевшие — лишились не только, как  
полагаю, многих прежних обитате-  
лей, но и своего зелёного обрамления  
и стали походить на бараки. На месте  
образовавшегося пустыря впослед-  
ствии построили школу, землю во-  
круг закатали асфальтом.

Старый город вообще тонул, как  
Китеж. Вряд ли храм Христа Спасите-  
ля был особо ценным архитектурным  
сооружением, но вокруг него раски-  
нулось большое, весело зеленевшее  
пространство (сказать «сквер» — мне  
кажется мало и неточно), которое  
смутно и нежно помню, как и густые  
бульвары Садового кольца. Всё это  
после взрыва храма исчезло и пре-  
вратилось в строительную площадку  
для сооружения гигантского Дворца  
Советов. Будь он воздвигнут, то пол-  
ностью подавил бы собою всю окрест-  
ность, где многое, скорей всего, под-  
верглось бы очередному беспощадно-  
му сносу. Но «великая стройка» явно  
затягивалась, огромный котлован  
пустовал, стальные опоры будущего  
фундамента уныло ржавели посе-  
редь разрастающихся водных хлябей.  
Унылое было зрелище! Прохожий,  
торопящийся ныне по Калининско-  
му проспекту или проезжающий по  
Арбатской площади в троллейбусе, не  
подозревает, что за считанные мину-

ты пересекает место, где некогда был тихий, слегка изогнутый переулочек (мне, шедшему за руку с бабушкой, представлявшийся достаточно длинным) с белой церквушкой, окружённой типичной белокаменной оградой.

Другая же церковь, теперь как-то сиротливо уютящаяся на «мысу» между Калининским проспектом и Поварской (долго называвшейся улицей Воровского), в те времена вместе с окружением, похожим на бывшее и в нашем Серебряном, напоминала знаменитый «Московский дворик» Поленова. И вспоминая это место, я вдруг ощущаю кисловатый вкус росших здесь зеленоватых слив. Перерублен переулок, перестроен большой дом напротив церкви, в котором прошло детство, и считанные люди остаются в живых из тех, что населяли тогда нашу псевдокоммунальную квартиру. Десять лет я был там единственным ребёнком. О. М. Старикова хотя и опередила тётку — мою мать, на четыре месяца раньше произведя на свет Катю, за которой через несколько лет последовали Алёша с Лёлей, но жила уже в другом месте — неподалёку, в Малом Каковинском переулке. Я туда с малых лет постоянно хаживал, минуя исчезнувшую ныне Собачью площадку с крохотным сквером вокруг фонтанчика посередине. Безотцовщину все жалели и баловали. И тут вспоминаются блоковские заметки о героине поэмы «Возмездие» (а, в сущности, о собственном детстве поэта): «И ребёнка окружили всеми заботами, всем теплом, которое ещё

осталось в семье...». И далее: «Семья, идущая, как бы на убыль, старикам суждено окончить дни в глуши победоносцевского периода...».

Глушь победоносцевского периода... Всё так, но: «О, если бы знали, дети, вы холод и мрак грядущих дней!» (всё тот же Блок). Аресты, расстрелы, ссылки, да и просто униженное, преследуемое положение «гнилой интеллигенции» (кстати, само-то презрительное словцо пущено из той самой «глуши», едва ли даже не лично Александром III), препоны дворянским детям в образовании (как в «глуши» — «кухаркиным детям»), с какими в особенности резко столкнулся Иван Михайлович Краевский, да и будущий академик Колюша не совсем их избежал... Понятно, что в таких условиях «убыль» в человеческих душах, в отношениях между людьми, во внутрисемейной атмосфере росла катастрофически. Отголосок размышлений обо всём этом слышится в ранних стихах Павла Антокольского: «В тот год, когда Вселенную вселили // Насильно в тесноту жилых квартир, // Как жил ты? Сохранил ли память, или // Её в тепло пепелки превратил?»

И всё же в маленьком «дворянском гнезде» Серебряного переулка ещё хватало тепла и друг для друга, и для нас, детей, и оно незаметно, повседневно, буднично передавалось от бабушкиной руки, держащей на прогулке мою, маленькую. В прикухонной комнатке (прежде, вероятно, предназначавшейся для прислуги)

доживала век моя прабабушка. Позже родственники, посмеиваясь, уверяли, что я был последней любовью Елизаветы Семёновны. Очень религиозная, привечавшая монашек, она и правнучка старалась направить на путь истинный и даже немного в этом преуспела. Во всяком случае, я показывал на изображённого в книге: «А это Серафим Саровский...» Однако прабабушка вскоре умерла, и на том, видимо, моё приобщение к религии закончилось. Никто из домашних его не возобновлял, хотя верующие среди них были. То ли решили, что неко времени, то ли вообще не до этого было. Вот, пожалуй, и первый «слом», выпадение из традиции, о котором писал Гершензон, пусть применительно совсем к другому поколению.

Мама работала фармацевтом в аптеке, и я целые дни проводил с бабушкой. Думаю, что вслед за исчезновением мужа появление у дочери «незаконнорождённого» ребёнка было для бабы Юли, «бабули», новым ударом, усугубившим угрюмость её характера. Характерно, что О. М. Старикова говорит, что никогда не слышала, чтобы она пела, как в молодые годы. Я, однако, помню её напевающей за работой: «Выхожу один я на дорогу...». Что-нибудь строча на машинке, она погружалась в задумчивость, так что порой отвечала на обращённые к ней вопросы совершенно невпопад. И оба вечно дразнивших меня, совсем молодых дядюшки Краевских однажды уверили меня, что она, когда шьёт, на сковородке сидит. По их наущенью

я в испуге спросил её, верно ли это. «Да, да, Андрюшенька...», — услышалось в ответ сквозь стрёкот «Зингера».

Этим же «суфлёрам» был я обязан и тем, что, как гласит семейное предание, пришёл на именины к раздражительному родственнику, мужу Элеоноры Ефимовны, и поздравил его стихами: «Мстислав Иваныч, // Снимай штаны на ночь, // А когда станешь вставать, // Не забудь надеть опять»... Бабуля очень меня любила, даже с избытком. К примеру, одеваться и обуваться сам я стал весьма не скоро. Она не только всячески обихаживала меня, но какое-то время читала мне вслух, несмотря на то, что я сравнительно рано овладел этим искусством.

Именно с бабушкой я помаленьку «обживал» Москву, ходил или ездил к многочисленной родне, обитавшей и в Хлебном переулке, и на Спиридоновке, и в Денежном, и в Луковом. Через Бородинский мост, чьи решётки привлекали меня изображённым там всевозможным старинным оружием, шли мы к уничтоженному впоследствии Дорогомиловскому кладбищу, где у входа высился пропеллер над могилой какого-то лётчика. Там, почти на самом берегу Москва-реки, схоронили прабабушку Елизавету Семёновну. На другой стороне лежало большое поле, и я почему-то был уверен, что именно там происходило Бородинское сражение. Смутно помнится первое, сравнительно далёкое путешествие в Калязин, где одно время жила Элеонора Ефимов-

на с вышеупомянутым Мстиславом Ивановичем, преподававшим в местном техникуме. Вечерами мы с ним ходили по большому залу: он, вечно хмурый, впереди, я — петушком — сзади. Отрывочно возникают в памяти кусочки калязинских улиц, пригородный луг, волжский берег, крест заречного монастыря, куда мы ходили и, обернувшись на обратном пути, увидели яркое сверканье над лесом, уже скрывшем сам монастырь. С раннего детства мне дарили или передаривали книжки, нередко дорогие самим дарителям по воспоминаниям собственного детства, например, «Маленький лорд Фаунтлерой» и «Таинственный сад». Одной из моих любимейших книг стал прекрасно иллюстрированный «Робинзон Крузо», выпущенный где-то на рубеже 20–30-х годов издательством «Академия» в серии «Сокровища мировой литературы».

Худо-бедно я уже мог одолеть его и сам, но всё же особое удовольствие получал, когда эту толстую книгу читала вслух бабуля — да ещё в каком-нибудь укромном уголке ныне уже не существующего бульвара, простиравшегося от Смоленской-Сенной площади, где тогда ещё и впрямь ставили возы с этим самым сеном, аж до Зубовской. Быть может, мощные стволы окружавших нас деревьев перекликались в моём воображении с росшими на робинзоновском острове. Очень я эту книгу любил, а когда моя тётка Елена Михайловна Краевская (позже — Влады-

кина) подарила мне ещё и вышедшие в том же издательстве и той же серии «Приключения Гулливера», я в восторге произнёс весьма патетически прозвучавшую фразу, которой меня потом долго дразнили: «Тётя Лёля всегда мне дарит сокровища мировой литературы!»

В нашей квартире сбились вместе не только несколько родственных семей, знававших лучшие, хотя и отнюдь не пышные «барские» времена, но и как будто преданно увязавшиеся за хозяевами вещи. В том числе — книги.

Иногда книги и разные предметы образовывали занятные «композиции». Так, служившая для каких-то хозяйственных надобностей большая коробка из-под конфет некогда известной фирмы «Эйнем», на которой мы, дети, наверное, впервые увидели картины наполеонова нашествия, как бы служила незатейливой иллюстрацией ко вскоре попавшему в моё личное владение одинокому томуку «Войны и мира», посвящённому как раз тем же событиям. Блуждание моего тёзки — князя Андрея — по горящему Смоленску (о котором, как и другой «сцене» событий той войны — городе Красном, постоянно вспоминали у нас дома, как о своей родине) — одни из первых толстовских страниц, прочитанных мной в жизни. Из рассыхавшихся, многих и многое повидавших за свой век шкафов, мог внезапно возникнуть какой-нибудь богато изукрашенный фолиант, скажем — Лермонтов с иллюстрациями Врубеля, или, напротив,

на редкость скромный, неказистый томик вроде зифовского (т.е. выпущенного уже советским издательством «Земля и фабрика») «Маугли», полюбившегося мне не меньше Робинзона с Гулливером. Из комнаты в комнату кочевали книги, принесённые кем-нибудь и надолго «загостившиеся», переходя от одного читателя к другому.

Замечу, впрочем, что не у всех книг была такая завидная судьба. Одна из покойных тёток вспоминала, что пришедший в гости родич, выйдя из помещения, которое ныне принято деликатно именовать туалетом, а у нас называвшегося уборной (или — более игриво — Тимаховичи, по имени какого-то инженера<sup>1</sup>), выразил своё неудовольствие хозяйке дома М. Н. Краевской, найдя вместо... соответствующей бумаги страницы из сочинений Мережковского.

Долгое время какие-то тома этого собрания доживали в пыльной груде книг, сваленных на шкафах в бывшей прабабушкиной комнате. Ах, как интересно было мне несколькими годами позже забраться туда и рыться в этих завалах! Конечно, они были не чета тем, которые я ещё совсем маленьким видел, гуляя с бабулей возле университета, разложенными прямо на тротуаре, — но, увы, тогда ещё был не в коня корм! С арбатских же шкафов

---

<sup>1</sup> И стишки такие были: «Тимахович — инженер // Показал нам всем пример: // Раньше можно было так, // А теперь — плати пятак!»

я снял огромное количество шахматных журналов середины 20-х годов (след недолгого Колюшиного увлечения), там же впервые заглянул в пухлый, растрёпанный однотомник Мопассана, но по младости лет надолго оставил его на верхотуре. Вряд ли Мережковский был туда сослан «по политическим причинам» — как белоэмигрант. Просто, наверное, был куплен как модный писатель, но не пришёлся ко двору. Или остыли к нему, как Колюша — к шахматам (хотя долго ещё обыгрывал меня и давал «фору», постепенно уменьшавшуюся). Не захватил бедный Дмитрий Сергеевич и такого «ценителя», как я в двенадцать-тринадцать лет, лишь какое-то неясное, томительно-дразнящее чувство надолго оставили в памяти довольно бегло пролистанные страницы о Юлиане Отступнике, Леонардо да Винчи, Петре и Алексее из этих запылённых томов в синих переплётках.

Не обошлось, возможно, без влияния моды и почти повальное увлечение женской части квартиры «Сагой о Форсайтах». Эти романы Д. Голсуорси в непрочных бумажных обложках помнятся мне переходившими из рук в руки и оживлённо обсуждавшимися даже годы спустя (смутно всплывает в памяти разговор о них матери с тётей Лёлей жарким летним днём на речном берегу в большом селе Уварове, далеко за Тамбовом). Запомнились и возникавшие на столах у взрослых характерные обложки знаменитого издательства Сабашниковых и разговоры то о ме-



муарах Софьи Андреевны Толстой и её сестры Татьяны Кузьминской, то о нашумевших «Записках д'Аршиака» Леонида Гроссмана. Такой шёл «культурный кругооборот», причём очень сомневаюсь, что при этом кто-нибудь называл происходящее «духовной жизнью» (а ежели б и назвал, то наверняка был бы поднят насмех, как я со своими «сокровищами мировой литературы»!). Просто среди всех тогдашних бытовых и прочих тягот существовало, струилось от человека к человеку нечто драгоценное, но негромкое, входившее в плоть и кровь, о чём если и говорили, то со стыдливой иронией, понимая друг друга с полуслова. Я долго дивился смешному постоянству, с каким дядя Саня, придя домой после обильной медицинской практики и с облегчением оставшись в сетчатой майке, сквозь которую виднелось огромное синее родимое пятно, при встрече в коридоре с кем-либо из «дам» восклицал с виноватой улыбкой: «Извините, я без галстука!»

Только много лет спустя, когда деда давно не стало, меня вдруг осенило: да ведь это он повторял реплику чеховского доктора Астрова, застигнутого Соней во время его невесёлой ночной гульбы! Реплику, вероятно, услышанную в новорождённом Художественном театре ещё из уст Астрова-Станиславского и накрепко врезавшуюся в память «коллеги», каким молодой земский врач Краевский был по отношению к чеховскому герою, которого мог

понять, как никто: самого будили среди ночи и упрасивали ехать бог весть куда, сам становился в тупик перед непонятными симптомами, сам вырабатывал редкостное чутьё диагноста (нут-ка, нынешние эскулапы, к чьим услугам самая новейшая техника, сможете ли вы без неё установить, что у пациента началось воспаление лёгких, на том основании, что он него пахнет парным гусем?!).

Ах, подслушать бы мне разговоры, которые случались у деда с другим доктором — Орловым из соседнего подъезда (уж не чеховским ли сослуживцем, гадаю я ныне!) Как непростительно поздно начинаем мы порой спохватываться о существовавших рядом с тобой и навсегда исчезнувших мирах — людях, незаметно тебя воспитавших, можно даже громко сказать — сформировавших! Нет, не только думая о самых прославленных современниках, вдруг с такой печалью и вместе с тем благодарностью, повторяешь теперь слова поэта: «Умирают мои старики, мои боги, мои педагоги...»! И так хочется, чтобы некогда почерпнутое у них струилось дальше, заново возникая в твоих собственных детях, внуках, правнуках! Причудливое сочетание разнообразных воздействий испытывали дети в домах и семьях, подобных тем, где я рос! У нас в Серебряном и у других родных и близких знакомых продолжали — без особой огласки, разумеется, — праздновать Пасху и устраивать запрещённую до середины 30-х годов ёлку. Одновре-

менно меня с другими детсадовцами водят совсем на другие торжества, где звучат — и волнуют — иные песни, чем «В лесу родилась ёлочка...»: «Товарищи в тюрьмах, в застенках холодных, // Вы с нами, вы с нами, хоть нет вас в колоннах!». Наряду с «Лордом Фаунтлероем» и другими книжками я охотно читал и новые детские журналы, например, такие талантливые, как «Ёж». А то вдруг сообщал домашним, что «хочу быть, как Фрунзе», сведения о котором, уже покойном, вычитал из какого-то набора открыток.

Туманно-туманно мерцает в памяти встреча бабули на Собачьей площадке с какой-то знакомой, разговор о голодающих... Что это — 1933-й год, когда мне 9 лет? И не отзвуки ли этих и других, опасливых и неодобрительных упоминаний о происходящем, а также анекдотов, виной тому, что на своих именинах я, подогреваемый общим вниманием к себе и заметно избалованный, вылез с каким-то глуповатым экспромтом о том, что «Сталин вертит колесо (эти слова точно помню) и кого-то давит»? Присутствующие, наверное, струхнули, но все оказались на высоте, и никаких печальных последствий моя выходка не имела.

Своим чередом в школе принимают меня в октябрюта, затем — в пионеры. А поскольку я вскоре стал отличником, то не только помогал отстающим, но выпускал стенгазеты, побывал и старостой класса, и председателем совета отряда. Помнится,

что эти «руководящие должности» льстили и мне, и простодушной бабуле. Смешно сказать, но временами в нас с моим тогдашним приятелем Володей Лекниным даже начинало проступать нечто «бюрократическое». Например, в одном из начальных классов мы додумались «наградить» одного из товарищей самодельной «Почётной грамотой»!

Слава Богу, это было скоропреходяще, и мы оставались детьми со всеми свойственными возрасту увлечениями: марки, открытки, футбол, волейбол, шахматы. К коллекционированию пристрастил меня сосед из верхней квартиры — Иван Михайлович Воробьев, находившийся в каком-то родстве с будущим академиком, историком искусства М. В. Алпатовым. Иван Михайлович был не просто собирателем, но и, видимо, комиссионером. Его комната была забита книгами и разными неожиданными вещами (помню, например, прекрасную модель китайской джонки). Что-то потом из неё исчезало, что-то появлялось.

Марки и открытки перепали мне и от знакомых, от родичей. Так, тётя Лёля, работавшая в «Экспортхлебе», как-то принесла мне греческую марку с изображением Акрополя. Откуда-то нам с двоюродным братом Алёшей Стариковым привалило такое богатство (для мальчишек-то!), как целая серия открыток о русском флоте периода войны с Японией и, что совсем уж удивительно, пожелтевшая газета тех времён, где восхвалялся

какой-то ловкий манёвр адмирала Рождественского, якобы обманувшего японцев, (но даже мы с Алёшей знали, что чуть не на следующий день русская эскадра, почти все корабли, изображённые на наших открытках, погибли в Цусимском сражении, описанном в только что вышедшей книге Новикова-Прибоя, ей зачитывались и взрослые). В футболе я не преуспел (лучше играл в волейбол), а вот в шахматы ухнул с головой. Записался в соответствующую секцию при Доме Пионеров в переулке имени Стопани возле Мясницкой, тогда — улицы Кирова. И так увлеклся, что если надо было выбирать между театром и партией в турнире, предпочитал последнюю. Впрочем, по серьёзности и основательности занятий шахматной теорией мне было очень далеко и до учившегося в более старшем классе Юры Авербаха, впоследствии ставшего гроссмейстером, и до ровесника Саши Гуревича, который уже и Юру иногда обыгрывал и вполне мог бы, вероятно, сделать спортивную карьеру, не погибни он на войне, как и другая восходящая звезда — Кондратьев (имени уже не помню), о котором потом с печалью вспоминал руководитель секции, известный мастер Юдович, рассказывая об одной его оригинальной дебютной идее, достойной, по словам нашего наставника, чемпиона мира. Однако я забежал далеко вперёд.

В начале 30-х годов дядя Саня был арестован по так называемому делу доктора Никитина. Дмитрий Васи-

льевич Никитин (1863 или 1864–1960) лечил ещё Льва Толстого, потом Горького, после революции бывал у него и в Италии. Несмотря на свою известность, продолжал работать в Звенигороде, где прожил в общей сложности четверть века. Никитину не раз предлагали место в Москве, но он отвечал: «Там и без меня врачей много, здесь я нужнее». По старинке он не видел ничего зазорного в том, чтобы и из Италии подать весточку друзьям и знакомым, особенно к праздникам. Одна такая цветная открытка (редкость по тому времени!), изображавшая красивейший грот на Капри, сразу же перешла от дяди Сани ко мне, но после ночного обыска и ареста её со страху уничтожили.

Рассказывали, что в одном из писем Никитин шуточно пообещал по возвращении сделать подробный доклад о своих впечатлениях, и мастера известного рода состряпали из этого дело о некоем тайном и, конечно же, контрреволюционном обществе. По этому делу арестовали и осудили нескольких старых земских врачей, в том числе дядю Саню и сестру мужа тётки Лёли Екатерину Николаевну Владыкину. Деда выслали на три года на Урал, а потом дали «минус двести» — то есть запретили жить ближе, чем в двухстах километрах от столицы. Так он попал в больницу Косогорского металлургического комбината под Тулой (до последней от Москвы было «всего» 194!). Екатерина Николаевна обосновалась на Тамбовщине, в больнице большого села Уварово.

По сравнению с приговорами, вошедшими в обиход спустя несколько лет, никитинцы, можно сказать, отделились лёгким испугом. Деда, прекрасного диагноста и добросовестнейшего врача, и на Урале, и на Косой горе очень ценили. К нему зачастили жители не только Косой горы, но и окрестных сёл.

В 2001 году в Петербурге были изданы воспоминания одного из дедовских однодельцев — Михаила Михайловича Мелентьева «Мой час и моё время». В лубянском подвале, который его невольные обитатели прозвали «собачником», Михаил Михайлович оказался в одной камере (точный «адрес» — «подвал А, камера 2») с «почтенным доктором А. Н. Краевским, — как его именует мемуарист, — ... как оказалось потом из нашего разговора с ним, привлечённым «по нашему делу». «Я... — пишет Мелентьев, — стал расспрашивать Краевского, что значит весь этот дурной сон. И он ответил мне, что так же мало знает, как и я, но от него требовали показаний в участии в «к.-р.» («контрреволюционной» — А.Т.) врачебной организации, и он «признался». Остальные в камере тоже подтвердили, что другого выхода нет и быть не может. Для чего «это» нужно, никто не знает, но что это «так нужно», все знают. «Вас будут допрашивать и мучить всё равно до тех пор, пока Вы не признаетесь. Проще сразу написать, что им нужно. Не путайте только людей лишних в это дело, а ограничивайтесь теми,

кто уже признался». Вскоре после мелентьевских «признаний» их с дедом разлучили и увезли в Бутырскую тюрьму. Там, в камере, рассчитанной на 24 человека, Михаил Михайлович оказался... 104-м. Вряд ли «почтенный доктор» устроился комфортабельнее. Допрашивали Мелентьева, как, вероятно, и деда, мало, а с апреля и вовсе перестали. Приговор же объявили только 11 сентября: три года лагерей (за исключением Никитина и Печкина, которым «дали» пять). Однако в пересыльной тюрьме наступила новая пауза. Как потом выяснилось, ещё в самом начале лета главного обвиняемого вызвали лечить заболевшего Горького, у которого он пробыл полтора месяца — до выздоровления пациента. Потом Дмитрий Васильевич провёл ещё два месяца дома, «в самом неопределённом наклонении», как — лесковскими словами — выражается мемуарист, и был возвращён «на пересылку» аккурат к оглашению приговора.

Вероятно, этими никитинскими «вакациями» и объясняются все проволочки и неожиданное смягчение приговора (вполне возможно, не без горьковского участия): 3 октября «каэрам» объявили, что вместо лагерей они будут подвергнуты административной высылке: Никитин — в Архангельск, Мелентьев — в Медвежью Гору, дед — в Нижний Тагил...

Сосланный в Кемь Печкин удачно оперировал жену местного высокого лагерного начальства, и благодарный супруг «под водочку» поведал ему:

«Дело всё в том, что Ягоде нужно было убрать от Горького доктора Никитина... Он и арестовал его. Но, оказалось, трудно было состряпать какое-либо обвинение против него, да и защитники были у него сильные (какой ещё существовал «либерализм!» — А. Т.). И вот Ягода был вынужден(!) посадить в тюрьму ближайшее к Никитину врачебное окружение». А почти тридцать лет спустя к Мелентьеву, жившему в Тарусе, приехал следователь, которому было поручено пересмотреть «дело». Сам Никитин всего несколько месяцев не дожидаясь до этого «праздника». Дед умер ещё в 1955 году. В живых из 14 осуждённых оставались только Михаил Михайлович Мелентьев и Екатерина Николаевна Владыкина. Ей разрешили прочесть материалы следствия. По её словам, дед вёл себя вполне достойно. Но чего всё это ему стоило? Да, по сравнению с последующими временами с «никитинцами» обошлись ещё, по ахматовскому словцу, вегетариански. Тем не менее, на — и в самом деле почтенного! — человека тоже, вероятно, как на Мелентьева, накидывались с матом и кулаками. В мемуарах деда «подельника» есть и такой колоритный эпизод. — Дама-следователь, недовольная его показаниями, сначала бранилась, потом «потребовала себе завтрак и медленно стала его есть... щеголяя маникюром», и, наконец, продержала голодного арестанта на ногах ещё четыре часа.

Неудивительно, что, как говорили родные, у деда совершенно изменил-

ся характер; он помрачнел и стал неразговорчив. Да и он ли один? Мелентьев приводит в своей книге письмо тридцатых годов от их общего с Никитиным знакомого: «Дмитрий Васильевич у меня не был и, думаю, едва ли он мог и быть. Уж больно напуган он. А кустов бояться не одни пуганые вороны, а и люди, и люди ещё сильнее ворон. Говорю так отнюдь не в укор Дмитрию Васильевичу, отнюдь не в укор». Господи, до чего же их всех жаль... Незадолго до того, как дед перебрался под Тулу, умерла от пневмонии его любимая сестра — моя бабушка. Это было, пожалуй, первое моё осознанное большое горе, и у меня некоторое время, что называется, глаза были «на мокром месте».

Школа, в которой я учился, бывшая Медведниковская гимназия, находилась на другой стороне Арбата, в Староконюшенном переулке. Там было несколько больших залов, в том числе отличный спортивный, неплохо оборудованные химический, физический и даже географический кабинеты. Среди учителей был один из авторов известного учебника физики Фалеев. Вообще, насколько могу судить, преподавательский состав выглядел довольно сильным. В старших классах математику вели энергичная Софья Александровна Вокач и Антонин Иванович Фетисов, весьма оригинальная фигура как по манере одеваться, так и по живости и даже какой-то почти юношеской лихости, с какой он вёл занятия и общался с учащимися. Чувствовался его доброжелательный

интерес к нам. Помню, что я даже рискнул показать ему своё стихотворение о Дон Жуане на где-то вычитанный сюжет: герой встречает похоронную процессию и в ответ на вопрос, кого хоронят, слышит своё собственное имя! Жалею, что в трудное послевоенное время не сохранил связей ни с Антонином Ивановичем, обитавшим в одном из ныне снесённых домов на Поварской, ни с импозантным и крайне сдержанным «географом» Николаем Николаевичем Булашевичем, относившемся ко мне благосклонно, поскольку я частенько заглядывал в подаренную мне одним из родичей книгу Элизе Реклю «Земля и люди» и вообще чуть больше интересовался предметом, нежели остальные.

Биологию вела строгая Евгения Николаевна Жудро, по совместительству заведовавшая учебной частью. Обаятелен был историк Дмитрий Николаевич Никифоров, который, горячо жестикулируя, так заразительно рассказывал о поведении афинян в бурные часы истории, что древние греки долго казались мне похожими на этого невысокого лысого человека. Часть своих слушателей он таки увлёк в исторический кружок городского Дома Пионеров, и они перед войной ездили на раскопки в Крым, о чём впоследствии тепло вспоминали (а я-то шахматы предпочёл!). С Дмитрием Николаевичем, жившим в большом доме на Новинском бульваре, напротив знаменитого здания, выстроенного князем Щербатовым,

автором известных воспоминаний, я как-то встретился уже в 60-е или даже в 70-е годы и даже имел честь подарить ему свою книгу, после чего получил старомодно-вежливое благодарное письмо. Менее ярко, но тоже увлечённо и добросовестно преподавала литературу Екатерина Смирницкая, чьё имя сохранилось в памяти, потому что заочно мы звали её «Катей». И совсем уж мимолётным было общение со многими другими учителями, сменявшими друг друга, — от нашей первой учительницы в подготовительном, так называемом нулевом классе (попросту — «нулёвке») худенькой Надеждой Алексеевной, печально глядящей с единственной сохранившейся общей фотографии, до какой-то весьма экстравагантной, экспансивной женщины, хрипловатым, прокуренным голосом декламировавшей мне на перемене «внепрограммные» стихи Полонского, или симпатичнейшей временной преподавательницы геометрии Клавдии... (увы, дальше — полнейший пробел), которая, если к ней подходили с какими-то недоумениями, имела обыкновение чертить ту или иную фигуру пальцем прямо на груди у спрашивающего (так, что смешливый умница Володя Лобанов, вскоре погибший на войне, весело интересовался, а что будет, если и нам в такого рода беседах с нею прибегнуть к той же методе).

На этом вполне добротном фоне каким-то залётным метеором малопривлекательного свойства про-

нёсся в печальной памяти 1937 году «преподаватель»... пресловутой сталинской конституции — рослый, малограмотный и крайне ограниченный «дядя Саша», как его тут же пренебрежительно прозвали. Увы, эта «беззаконная комета» зловеще предвещала и в моей собственной, и в чужих биографиях нудную, за редчайшим исключением, череду подобных же менторов по части общественных наук. От них в памяти оставались лишь анекдотические промахи и ляпсусы да шедевры устного канцелярита (по позднему выражению Корнея Чуковского), вроде услышанной уже в Литературном институте фразы о Людовике XVI: «Целевая установка царя (!) была — бежать за границу». Вполне понятен яд анекдотов об этих «пропагандистах» марксизма-ленинизма и истмата с диаматом. «Ты слышал, — адресуется один к другому, — говорят, на Марксе люди живут!» И слышит в ответ: «Ну, ведь это одна гипотенуза!» Мои одноклассники, как и я сам, к концу 30-х, в сущности, были ещё подростками со многими «щенячьими» свойствами и увлечениями (вроде моих шахмат). Между тем, по некоторым уже прошёлся страшный каток репрессий. В соседнем классе «Б» происходило то же самое. Разумеется, осиротевшие больше помалкивали, так что я вовсе не уверен, что знаю обо всех таких несчастьях. В самых же старших классах случались и «прямые попадания»: арестовали Мишу Кудинова, впоследствии известного

переводчика. Самого меня тогда всего лишь «задело крылом», хотя тоже весьма характерно для той эпохи. Классе в седьмом-восьмом мы с Павликом Комаровским и Мишей Добрымсловым затеяли юмористический листок под названием «Классная сплетня». Само название говорит, что мишени нашей, с позволения сказать, сатиры были неподалёку. Разве что какого-нибудь особенно досадившего учителя мы «прохватывали» в немудрёных стишках и грубоватых карикатурах. И всё сходило с рук — до той поры, когда при каком-то конфликте в школьной комсомольской организации, возглавлявшейся смазливим десятиклассником Вадимом Кирко, этот «вождь» не счёл уместным обратить внимание на нашу, естественно, никем не санкционированную «прессу».

Между тем санкции требовали уже почти на всё. Во всяком случае, когда умер от дифтерита Володя Ленин, с которым как раз незадолго до этого у меня вновь вспыхнула долгие годы еле тлевшая дружба, я хотел на похоронах прочесть написанные прощальные стихи, и, узнав об этом, Е. Н. Жудро отозвала меня в сторонку и предварительно сама их выслушала. Наша «Сплетня» попала на «скамью подсудимых», и дело дошло до райкома комсомола. Он находился в том самом прелестном особняке Морозовой на Смоленском бульваре, где некогда собирались блистательные умы и таланты серебряного века. (Между прочим, там же, но в помещении, занятом райвоенкоматом,

я, придя годы спустя с ходатайством от Литинститута дать мне небольшую отсрочку для завершения весенней экзаменационной сессии, услышал от военкома, что «таких писателей народ — в зад коленом», так что эту сессию я сдавал уже после войны, которую сей «бич дезертиров», полагаю, благополучно, а может быть, и небезвыгодно провёл в том же историческом здании. Где-то вы теперь, мой бдительный майор — или же давно полковник, если не генерал?) Райком расщедрился на выговоры, но вскоре грянула война, и стало не до того. Не думаю, что только из-за подобных обид я в 1940-1941 годах пережил острую неприязнь ко мно-тому, что совершалось в стране. Мне трудно теперь припомнить и проследить какую-либо последовательность, с какой это происходило. Ведь ещё в 1937-1938 годах я не без зависти относился к тому, что Володя Лекнин и ещё кто-то из одноклассников были приняты в комсомол, и мечтал «догнать» их. И договор с Гитлером меня скорее удивил и даже позабавил, чем откровенно возмутил. Помню, что я даже дразнил кого-то, «предсказывая», что Гитлера вскоре введут в... ЦК! Глупое мальчишество, не правда ли? Но как бы я зазнался, если бы каким-то чудом стало известно о последовавших тайных переговорах насчёт присоединения СССР к фашистскому «антикоминтерновскому» пакту!

Однако уже весной 1940 года я прочёл деду М. Н. Краевскому, с ко-

торым всё больше сходилась, следующие стихи с лермонтовским эпиграфом «За всё, за всё тебя благодарю я...» и густым налётом надсоновской лексики: «Благодари его за «радостное детство», // За «юность светлую» его благодари, // За то, что проклял он «прошедшего наследство», — // За всё, за всё ему спасибо говори. // Благодарю, — я возражать не смею, // Но будет день — свободы идеал // Забудется, наденешь ты ливрею, // А вместо «гения» окажется Ваал. // И ты припомнишь всё — политики арену, // Где с ложным пафосом, с наигранной слезой, // Котурнами возвысаясь, гений сцены // Листочком фиговым от вас скрывал разбой. // Я не зову назад, иль к вере в фатум(?!). // Лишь одного хочу — хочу, чтоб не пришлось // Раскаться тебе, когда придёт расплата // За всё, чему теперь ты веришь на авось...» Кто это — «он», совершенно ясно («Спасибо товарищу Сталину за счастливое детство» и т.п.). Решительно не помню продолжения стихов, да, впрочем, судя по качеству приведённых строк, — это потеря небольшая. Интересен сам факт подобных настроений, которые разделял тогда и мой новый одноклассник Володя В., только что перебравшийся в Москву из Вологды и рассказывавший о тамошней жизни, в частности — об очередях за хлебом. Помню, как возмущало и смешило нас обоих, когда наш одноклассник Слава Рапота рассуждал о том, какой он счастливый — идёт по улице, и никто его не может схватить и арестовать — в отличие от



стран капитализма. Между тем, после некоторого отлива ежовских репрессий, потихоньку рассказывали о ком-то вернувшемся — со шрамом от удара наганом по голове... Слов нет, «оппозиция» наша была щенячьей и неглубокой, но откуда же она всё-таки простекала?

Самое очевидное — это естественное отталкивание, отвращение от всё крепнувшего хора славословий новоявленному «гению», производившего на нас совершенно обратное воздействие. Глухие слухи о репрессиях и о крупных поражениях в войне с маленькой Финляндией тоже играли свою роль в развенчании ореола вокруг «вождя». Не могу умалить и влияния лично на меня умонастроенный скептицизм Колюши, осторожно предпочитавшего не высказываться на политические темы и целиком сосредоточенного на своей медицине, или более откровенное неприятие существующего «дядей Миней» (М. Н. Краевским), или мужем его дочери Натальи, Владимиром Николаевичем Мамоновым, при всём своём весёлом и беззаботном характере не упускавшим случая едко высмеять кое-что из новых порядков. Помню, как при возобновлении глинковской «Жизни за царя», переименованной в «Ивана Сусанина» и вообще тщателью «подчищенной» по тексту, Владимир Николаевич пресерьёзно предлагал, чтобы в последнем акте на сцене были выставлены гигантские... пятки, а хор распевал: «Со-

бирайся, наша рать, // Пятки дружно полизать!» Направленность этих насмешек была столь же очевидна, как и в другом случае. На даче в подмосковном Ильинском Владимир Николаевич, празднуя именины, выставил на веранде большое блюдо с собранными на огороде ягодами и овощами, в центре же — торжественно возвышались несколько одинаковых, паспортного размера, фотографий именинника. Это выглядело как пародия на недавно открывшуюся Всесоюзную Сельскохозяйственную выставку, изобиловавшую портретами «самого родного и любимого». Конечно, у моих родичей были свои счёты с новым режимом, пусть это было уже изрядно обедневшее дворянство, с трудом сохранявшее до революции свои небольшие усадьбы. Воспоминания об этих Луние, Полибинке и других уголках и согревали души этих людей, служа источником оживлённых эгегических разговоров, и, конечно же, щемили сердце, особенно если доходили слухи о том, что там теперь творится. Так, в годы коллективизации к дяде Мине в Москву заявился кто-то из раскулаченных, и дед оставил его ночевать, а потом переправил куда-то дальше, воспользовавшись связями по агрономической службе. Десятки лет спустя мы с моей второй женой, будучи в Смоленске, решили добраться до Лунина. Накануне мы гостили у вдовы поэта Николая Ивановича Рыленкова — Евгении Антоновны и в разговоре выяснили, что она родом из тех мест

и даже участвовала в самодеятельных спектаклях, происходивших в бывшем барском доме, который вскоре пришёл в негодность и рухнул. Автобусом до города Красный, затем попутной машиной и, наконец, пешком добрались мы до красивой холмистой местности, но в Лунине нашли только следы обсаженного высокими тополями пруда и непролазную грязь вокруг скотного двора. Пошёл дождь, и мы еле-еле, опять с какой-то попуткой отправились восвояси, поддразнивая друг друга: жена меня — паломничеством в «бывшие владения» (уж-ж-жасная несправедливость, поскольку я приходился бывлым хозяевам, как говорится, седьмой водой на киселе), а я её — завидным родством со смоленскими «князьями церкви» (Нина была внучкой дьякона).

Уж не помню, вспоминались ли мне в тот день огаревские стихи, которыми завершил Герцен одну из глав «Былого и дум»: «Старый дом, старый друг! Посетил я, // Наконец, в запустенье тебя, // И бывшее опять воскресил я // И печально смотрел на тебя. // Двор лежал предо мной неметённый, // И колодец валился гнилой, // И в саду не шумел лист зелёный, // Жёлтый, тлел он на почве сырой. // Дом стоял обветшалый уныло, // Штукатурка оббилась кругом, // Туча серая сверху ходила // И всё плакала, глядя на дом». Грустная картина, но по сравнению с увиденным в Лунине — чистая пастораль. Я пишу эти строки в пору, когда происхождение из «бывших» уже не только не скрывают,

а напротив, кичливо выставляются напоказ. Признаться, это коробит. Уж на что Олег Васильевич Волков, прекрасный писатель, не мог быть заподозрен в сочувствии недавнему режиму, от которого сильно настрадался, но и от него я слышал, что его удивляют и даже смешат затеи вроде воскрешения дворянских собраний, куда его хотели завербовать родичи. «А сколько душ дадите?» — иронически поинтересовался Олег Васильевич. «Есть мужик и мужик», — рассудительно отвечал сказочный Поток-богатырь в известной балладе А. К. Толстого на вопрос, уважает ли он мужика. Так вот, есть, а точнее — был дворянин — и дворянин. Дядя Миня рассказывал, как другой наш родич, Михаил Александрович Краевский за завтраком листает газеты с вестями о страшном Кишинёвском погроме 1903 года и хихикает над фотографиями убитых «жиденят».

— И тогда — десятилетия спустя — дядю Миню снова так и затрясло, я сказал: «Замолчи, мерзавец, а то я тебе в морду дам!»

В устах тишайшего и кротчайшего деда — да такие слова! Любопытно продолжение: в середине 30-х мы как-то оказались на одной даче с Михаилом Александровичем, и он хвастался перед моей матерью, как недавно верно «политически высказался» — точь-в-точь, как вскоре выступивший Мануильский, позабытый ныне партийный деятель. При этом не сомневаюсь, что произошёл при его жизни нечто подобное нынеш-

ним, конца века, событиям, он и тут оказался бы в первых рядах — в духе злого анекдота двадцатых годов: ре-ставрация царизма, на Красную площадь на белом коне въезжает победоносный генерал, а навстречу ему из толпы бросается Алексей Николаевич Толстой и, всплеснув руками, восклицает:

— Ваше превосходительство, что тут без вас было!!!

Михаил Александрович и внешне-стью сильно походил на грозного помещика из тех, что в пору так называемых контрреформ конца XIX века валом валили в земские начальники, чтобы вновь насладиться властью над «распоясавшимся мужичьём». Говорят, он и сам побывал в этой должности и так был охоч до баб, что потом — вынужден одним из первых убраться вон из имения: мужики грозили с ним расправиться. Если его я вспоминаю с отвращением, то судьба уже не родственника, а некоторым образом свойственника — Петра Николаевича Мамонова (брата уже упоминавшегося Владимира Николаевича) донине как-то ранит меня, хотя и поделись мы лишь однажды: очутились рядом на именинах И. М. Воробьева. Пётр Николаевич пытался что-то наскоро рассказать мне, 12–13-летнему, о реформах Столыпина, у которого был чуть ли не адъютантом. Вскоре мой «собутельник» (с ним я выпил первую в жизни рюмку водки) был куда-то выслан и, насколько помнится, во время нелегального наезда к жене в Москву умер прямо в вагоне.

(В войну подобная смерть постигла и Владимира Николаевича — чуть ли не на перроне Казанского вокзала). Что касается дяди Мини, он был из тех либеральных дворян, кого всегда честили прекраснодушными и слабовольными. Может быть, он и был в этом отношении не без греха. Во всяком случае, в семейной жизни верховодила его вторая жена, уже упомянутая «тётя Таля», которую заглазно насмешливо именовали «Талюнчик». Она была скуповата, в чёрном теле держала падчериц и пасынка в их детские годы (и дядя Миня это терпел). После революции она, по слухам, не брезговала тайным ростовщичеством, да и вообще была весьма практичной и оборотистой особой. Дети же, несмотря на всё, отца любили, возможно — слегка жалеючи. Сам же я на несколько лет сильно к нему привязался и пользовался взаимностью, хотя был для него лишь «боковым» внуком — в придачу к целой ораве прямых, которая всё увеличивалась (Катя, Алёша, Лёля, Наталья, Таня, Маша). При первой возможности я отправлялся к нему, поднимаясь по своему Серебряному, сворачивая на Молчановку и почти сразу же — в Ржевский переулок, минув там серый «генеральский» дом, где ещё недавно, после нескольких арестов в соседних квартирах, застрелился Гамарник.

Тётя Лёля до конца жизни со стыдом вспоминала свою, действительно малоудачную шутку: придя к дяде Сане, она обнаружила в передней

шинель одного из его пациентов, высокопоставленного обитателя генеральского дома, накинула её на плечи, нахлобучила фуражку и без стука вошла в комнату со словами: «Именем закона...» Бедный гость был неприятно поражён этой «репетицией» своего близкого будущего...

Миновав окружённую оградой давно закрытую и зарастающую травой церковь и перейдя улицу (тогда — Воровского), я, в конце концов, добирался до Хлебного переулка. Раньше в две небольшие комнаты, занимаемые дедом с женой, шли со двора, но потом это крыльцо с небольшими сенями было заколочено и превращено в нечто вроде кладовой, а входить приходилось через общую кухню, предварительно постучав в окно, чтобы открыли наружную дверь. Здесь любил бывать и играть на рояле Сергей Дмитриевич Попов, живой и нервный человек, особенно любивший, по-моему, Скрябина. Много позже я узнал, что к знакомым деда принадлежал и другой Попов (родич ли Сергея Дмитриевича, не знаю), близкий друг Михаила Булгакова. Вообще Москва была, как мир по известному выражению, тесна. Когда впоследствии Твардовский праздновал пятидесятилетие, мы разговорились за столом с прозаиком Сергеем Николаевичем Голубовым, и выяснилось, что он был в большой дружбе со своим тёзкой Поповым. А готовя к юбилею Чехова специальный номер «Огонька», где я тогда работал, я брал какой-то материал

у одной из старейших сотрудниц Ленинской, ранее — Румянцевской библиотеки, и оказалось, что Елизавета Николаевна Коншина живёт в том же Серебряном, но совсем на задворках больших зданий, в глубине двора, за небольшими огородами, в домике совершенно деревенского вида, на подобие тех, что некогда стояли возле нашей исчезнувшей церкви.

В. Н. Мамонов с Натальей Михайловной, которую родичи с детства звали Тюней (памятуя какое-то её детское словцо), дружили с художником Михаилом Михайловичем Черемных, которого обычно вспоминают как сотрудника Маяковского по работе над плакатами «Окна РОСТА». Ни Владимир Николаевич, ни тётя Тюня, как звали её племянники с племянницами, ни к поклонникам поэта, ни к сторонникам воспевавшегося им строя никак не принадлежали. И я не знаю, что связывало их с Черемных, да и каков он сам-то был в свои более поздние годы.

Запомнился лишь переданный тётей Тюней рассказ, как в конце 30-х забраковали его рисунок к юбилею Красной Армии. Рисунок строился на контрасте между бедно одетым и плохо вооружённым юношей, олицетворявшим первый период её существования, и богатырём, символизировавшим её нынешнюю мощь. Казалось бы, прекрасно? Но рисунок не прошёл, и, поясняя причины этого, художник сказал, придав своей речи грузинский акцент, что «наша армия никогда не была слабой»! Маленький,

но характерный штрих времени... Ирония, с которой тётка передавала мне эту и другие истории, служившие к вящему посрамлению воцарявшихся нравов и принципов, не могла не воздействовать на 15–16-летнего подростка. А сами мои собеседники казались наиболее типичными (выражаясь возобладавшим тогда слогом) представителями канувшего в прошлое общества. Одна из любимых детских игр, неоднократно описанная и в литературе, — смотреть на мир сквозь разноцветные осколки стекла: все кажется волшебным, таинственным, притягивающим. Думаю, что и я тогда глянул на прошлое сквозь своеобразные осколки, отнюдь не из худших, и представлял его заметно приукрашенным. Впоследствии мне пришлось пережить долголетний процесс отказа, оттачивания от своих тогдашних представлений и настроений. В этом была и своя справедливость, и своя неправда. Горьковатая справедливость заключалась в том, что вскоре я стал ощущать определённую скудость, исчерпанность тех мыслей и наблюдений, которыми делились со мной старшие. Патетически говоря, они как бы застыли на одной точке зрения и воспринимали только то, что ей соответствовало. Порой это сказывалось в сравнительных мелочах, вроде литературных вкусов и пристрастий. Так, для дяди Мини Надсон остался куда ближе и понятней Блока.

Если катастрофическое начало войны с Германией вполне согласо-

валось с взглядами моей родни на новый строй, то дальнейшее заставляло призадуматься: почему-то он всё же устоял? Сражаются же за него? Поступив же осенью 1942 года в Литературный институт, я соприкоснулся с совершенно иной средой, и как бы жёсткая тёрка прошла по моим настроениям и вкусам — не только по остаткам «надсоновщины», но и по более «капитальным», как мне казалось тогда, а в сущности — не устоявшимся убеждениям. (Впрочем, ещё в школе я как-то не нашёл, что возразить, когда моя тогдашняя первая серьёзная любовь Надя Вялкова, выслушав мои тирады против строя, заметила, что в ином случае она, «простолюдника», наверное, не смогла бы получить такое образование).

Ещё поздней осенью 41-го, в день рождения дяди Мини, я подарил ему очень понравившуюся мне книгу Ивана Евдокимова о Левитане, сделав на ней стихотворную надпись, из которой помню только заключительную строку: «Новоселья желаю тебе!» Речь, конечно, была не о каких-то бытовых пожеланиях, имелась в виду некая общественная перемена, представлявшаяся совершенно туманной и, быть может, связанная с расчётами на длительность союза с демократическими странами и некое воздействие этого на наши внутренние дела. Но, как бы то ни было, в дальнейшем моя «опозиция» быстро сошла на нет. Тут сыграло роль и влияние того патриотического порыва, который побуждал тогда и весьма зрелых и многознав-

ших политических деятелей даже в стане эмиграции мысленно становиться под знамёна сражавшейся со страшным врагом России, как всё чаще именовали страну, которую ещё недавно нещадно третировали как презренную «Эсэсэрию», «Совдепию». К великому сожалению, с той поры как-то ослабела и увяла моя дружба с М. Н. Краевским, оказавшаяся (или, быть может, показавшаяся?) мне тогда исчерпанной и уже малоинтересной. Не помню уже, как и почему мы перестали встречаться. Лишь незадолго до его смерти, году в 1958-м, мне передали его просьбу навестить. Жаль, не помню подробностей этого свиданья-прощанья. Прошли годы, пока у меня не появилось острое сознание собственной чёрной неблагодарности, увы, безнадежно запоздалое. С тётей Тюней всё было куда безболезненнее. Помню, что, узнав уже в армии о кончине Владимира Николаевича, я написал ей, а вскоре по возвращении поехал на их дачу в Ильинском и, прихрамывая, чистил садовые дорожки, совершенно запущенные, а прежде окаймлявшиеся прекрасными белыми флоксами. Покойный вообще с величайшим тщанием возился с цветами, облачаясь в какую-то столь немыслимо заношенную рубашку, что кто-то из потенциальных пациентов довольно высоко спросил его, дома ли доктор Мамонов. «Нету, нету!» — смиренно отвечал Владимир Николаевич.

Изредка виделись мы с тётей Тюней и позднее, но грустно, что могло

это происходить и чаще, и теплее. Переселённая с Садовой в район Аэропорта, она доживала свой век в полном соответствии со своим характером: независимо, замкнуто, непроницаемо. Умирая в больнице от рака лёгких (страстная была курильщица!), за несколько минут до кончины со своей обычной вежливостью отвечала на вопрос медсестры: «Нет, благодарю вас, мне ничего не надо...».

Одна из моих более поздних знакомых, писательница Александра Яковлевна Бруштейн, (о ней речь далеко впереди) чьи родители сгинули в вильнюсском гетто, с великой горечью писала в своей прекрасной книге «Дорога уходит в даль», что ей негде поклониться их памяти, сказать слово благодарности. «Я говорю это здесь», — заключала она. И при всей несопоставимости обстоятельств мне тоже хотелось бы сказать — здесь и сейчас — обо всех упомянутых выше людях то, что не успели или не надоумился сказать прежде. (Счастье ещё, что в последние десятилетия жизни Елены Михайловны Владыкиной, тёти Лёли, мы с женой очень сблизились с ней, уже не покидавшей дома, но сохранившей не только ясную голову — как и её сестра Ольга — но и живой интерес ко всему окружающему и желание дожить до каких-то общественных перемен). Только вместе со мной умрут вечера в Хлебном и в Ильинском, немудрёное весёлое музицирование Владимира Николаевича, негромкий голос дяди Мини и молчаливость другого

деда, дяди Сани. Последний как-то приснился мне со своей хмуровой доброй улыбкой и дежурной остротой («Простите, я без галстука,,») — и так я плакал во сне от горя и от счастья, что могу его обнять и сказать что-то благодарное... Пусть земля будет им пухом! Мы росли в нелёгкое, очень нелёгкое время, но именно во многом благодаря этим людям. Когда думаешь о своих первых годах, в памяти звучат строки поэта: «Серебряной звездой летит в ладони детство, // Мерцает и звенит, спеша уверить всех, // Что жить нам — не устать, глядеть — не наглядеться // На этот первый снег, на этой первый снег». (Николай Рыленков)

### **Прошедшие рядом**

Нет-нет и вспомнятся последние предвоенные июньские недели, вечерние воскресные электрички, переполненные возвращающимися в Москву с дач оживлёнными мужчинами и уже слегка загоревшими и, признаться, соблазнительными женщинами с букетами. И больно теперь думать, скольких из них вскоре не станет, у скольких будут безнадёжно переломаны судьбы, сколькие вообще канули в неизвестность и самая память о них с годами стёрлась!

Нечто подобное испытываешь, вспоминая литературную жизнь первых послевоенных десятилетий. Всё чаще убеждаешься, что многие жившие и работавшие тогда писатели если не напрочь забыты, то поминаются мимоходом, небрежно,

свысока: что, дескать, с этих «совков» (ненавистное мне слово) взять! И, помня реальные живые лица, беспримерно трудные условия, в которых люди оказывались в конце 40-х — начале 50-х годов, все испытанные ими злоключения, никак не хочется мириться с этим торопливым забвением и «скидыванием со счетов». Пусть даже, как с грустным юмором писал о себе как мемуаристе Николай Павлович Анциферов, о котором речь впереди, и я покажусь кому-то «похожим на Пиковую Даму, сидящую в ночной час в глубоком кресле и бормочущую себе под нос имена, некогда ласкавшие её слух». Собственно, я уже затрагивал эту тему, говоря о Суркове. Продолжу. В недавно вышедшей в Саратове «Истории русской литературной критики» А. К. Тарасенков упомянут лишь вскользь, хотя и в числе тех, чьи выступления в печати в 30–40-х годах «наиболее заметны», — но, к сожалению, рядом, через запятую, с таким специфическим деятелем той эпохи, как Николай Лесючевский, сыгравший своими доносительскими отзывами самую роковую роль в судьбе ряда писателей. Между тем, уравнивать их просто невозможно, глубоко оскорбительно для памяти бедного Анатолия Кузьмича, хотя и был он отнюдь не безгрешен и, по горестно-сочувственным словам Пастернака, «сдал кое в чём под натиском времени». Да, дрогнул и стал в злоешие 30–40-е годы «каяться» в любви к стихам последнего, отказываться и от других своих преж-

них оценок, что язвительно показал в одном выступлении Сельвинский, сопоставив между собой некоторые его статьи разных лет. Но тот же Тарасенков буквально кидался на защиту молодого Твардовского, объявленного в Смоленске классовым врагом. В 2006 году в смоленском издательстве «Маджента» вышла книжечка «Несгоревшие письма. А. Т. Твардовский и М. И. Твардовская пишут А. К. Тарасенкову в 1930–1935 гг.». В них, обречённых было огню при поспешной эвакуации из Москвы осенью 1941 года, чудом уцелевших, но надолго пропавших, запечатлелся один из самых трагических периодов жизни поэта, когда он ходил в «кулацких подголосках». «В самые трудные годы жизни в Смоленске, — пишет его дочь В. А. Твардовская в послесловии к книге, — А. Т. обрёл в Москве — в лице Тарасенкова — ту опору, которая помогла выстоять в неравной борьбе». Она прибавляет, что «сам А. К. ... никогда не упоминал об этой своей роли». Между тем, письма Твардовских дают ясное представление о том, как он хлопотал о смоленском знакомце, как радел о нём, защищал (жена критика запомнила, как он схватился с Лилей Брик, назвавшей «Страну Муравию» «кулацкой поэмой») и буквально агитировал за него как в собственных статьях, так и организуя в его поддержку коллективные письма известных литераторов.

Не будет слишком смелым предположение, что несколькими весьма благожелательными отзывами Па-

стернака о ранних поэмах Твардовского мы опять-таки в немалой степени обязаны Тарасенкову, в ту пору часто общавшемуся с Борисом Леонидовичем и, бесспорно, не преминувшему познакомить его со стихами своего «подшефного». В самые мрачные времена Анатолий Кузьмич собирал, хранил и даже исподволь готовил к изданию стихи «белоземгрантки» Цветаевой, а в последний тягостный год её жизни — дружил с ней, бесприютной, и с её сыном. Когда в стране чуть «потеплело», Тарасенков с радостью принялся составлять сборник другого эмигранта — Бунина и писать предисловие к этой книге. Так случилось, что едва ли не последние слова, написанные его рукою, это горькие строки бунинского стихотворения «Петух на церковном кресте»: «Поёт о том, что мы живём, // Что мы умрём, что день за днём // Идут года, текут века // Вот как река, как облака. // Поёт о том, что всё обман // Что лишь на миг судьбою дан // И отчий дом, и милый друг, // И круг детей, и внуков круг». Какой уж там «внуков круг»! Этому «литературному старику», как А. К. не без некоторого кокетства аттестовал себя в дарственной надписи на своей последней книге, было неполных сорок семь лет. Но позади была война, трагический поход с Балтийским флотом из Таллинна в Ленинград, долгие часы, проведённые в воде, пока не подобрали на другой корабль (тонущих было так много, что, как вспоминал Анатолий Кузьмич, «море кричало»), го-



лод в блокаду (одна знакомая потом говорила, что только из его рассказов она поняла весь ужас происходящего), тяжелейший послевоенный туберкулёз, служебные неприятности... Сначала главный редактор «Знамени» Всеволод Вишневский сваливал на Тарасенкова вину за все «идейные ошибки» журнала, писал ему угрожающие, обличительные письма: «Будешь защищать Пастернака — буду против тебя драться...», — да ещё посылал их копии в ЦК! (К чести Анатолия Кузьмича: в ответном письме он категорически отверг инсинуации шефа насчёт «каких-то пронемецких разговоров» поэта летом сорок первого года. Потом в издательстве «Советский писатель» ему объявили партийный выговор за издание... знаменитых книг Ильфа и Петрова. А уйти из редакции «Нового мира» потребовал — ах, простите! — рекомендовал сам Фадеев, сделав из Тарасенкова козла отпущения, «не снимать же нам Твардовского!»).

Знарок поэзии, заражавший своей любовью к ней каждого собеседника, Анатолий Кузьмич лишь однажды был приглашён прочесть спецкурс о русской поэзии XX века в Литературный институт. Но тут грянуло постановление ЦК о журналах «Звезда» и «Ленинград», и, видимо, продолжать курс стало невозможно. Мало того, что была предана посрамлению Ахматова, но даже, когда в очередную годовщину, в том же августе 1946 года, Павел Антокольский в своей статье назвал великого поэта

совестью русской поэзии, это вызвало «высочайшее» неудовольствие. Вдова Тарасенкова М. О. Белкина рассказывала, что в последние годы жизни он тоскливо жаловался ей, мол, некому передать всё, что знает, помнит, любит. Характерно: узнав, что я не читал бунинский «Солнечный удар», он тут же усадил меня читать этот рассказ, а сам сел неподалёку, подобно хозяйке, потчующей гостя вкусным блюдом и, кажется, наслаждающейся даже больше него самого.

Подлинным подвигом Тарасенкова стал библиографический труд «Русские поэты XX века. 1900–1955», завершённый и изданный стараниями его вдовы и сына Дмитрия. И вот — новый поворот выше затронутой горестной темы: когда недавно вышло новое, дополненное издание этой книги, на её презентации куда больше говорилось о заслугах (конечно, бесспорных) существенно дополнившего её и устранившего ряд прежних ошибок и неточностей Льва Михайловича Турчинского, нежели о давно покойном Анатолии Кузьмиче!

Если Тарасенков в «Истории русской литературной критики» хотя был упомянут, то иным и вовсе не повезло. Начну издаю: Литературный институт, первые послевоенные годы, семинар Слонимского, где недавний офицер читает реферат об А. Н. Островском. И когда речь заходит о том, как Кнуров и Вожеватов бросают жребий, кому из них достанется бесприданница Лариса, звучит навсегда запомнившаяся фраза:

«Дрожащими руками разыгрывает Островский судьбу своей героини...». Может быть, тогда я в первый раз ясно ощутил то трепетное отношение Владимира Огнева к жизни и искусству, которое вскоре привело его в критику и определило весь дальнейший путь моего однокурсника.

Его критический дебют в самом начале 50-х годов был заметным и ярким. Тогда не было нехватки в критиках, которые относятся к литературе с какой-то регистраторской холодностью и почти бюрократическим величием. Так и кажется, что, как важно заявил в начале своей карьеры один из таких авторов, они смотрят на неё «с высоты, данной им аспирантурой», а позже — учёными степенями, и разве что не спрашивают оказавшуюся перед их очами книгу: «Вы ко мне?» Поэтому особенно дорога подлинная, неподдельная взволнованность молодого критика при встрече с тем или иным литературным явлением, стремление — и умение — понять секрет писательской удачи, или наоборот, причину неуспеха и поделиться с читателями всеми мыслями и чувствами, которые возбудила или всколыхнула книга в душе автора статьи или рецензии.

Так увлечённо и страстно писал Огнев о трагедии «От Полтавы до Гангута», автор которой — Илья Сельвинский — был тогда у критики отнюдь не в фаворе. Одним из первых приветствовал «малый, но дорогой золотник» — небольшой сборник

Леонида Мартынова, вышедший после долгого вынужденного молчания поэта, дебют Сергея Залыгина и Гавриила Троепольского, поэму «Строгая любовь» Ярослава Смелякова, только что вернувшегося из заключения. В то же время Огнев не боялся задеть «маститых», язвительно отозвался об очерке Валентина Катаева «Поездка на юг», где проявилась какая-то «глухота» писателя к трудностям послевоенной жизни, и о панфёровской пьесе «Когда мы красивы». Некоторые подобные выступления дорого обошлись критику. Он едко высмеял подхалимскую, угодливую рецензию Евгения Суркова на книгу об Алексее Николаевиче Толстом, принадлежавшую перу В. Р. Щербины, возглавлявшего отдел литературы и искусства газеты «Правды». И трудно было не увидеть связи между этой заметкой и несколькими «окриками», вскоре раздавшимися с её страниц по адресу «дерзкого».

Первый сборник огневских статей был в 1957 году пущен под нож в самом буквальном смысле слова: почти все экземпляры книги были уничтожены. Автор же и в дальнейшем долго оставался как бы «на подозрении». Даже в вышедшем в 1968 году томе Краткой литературной энциклопедии читаешь: «Некоторые статьи О. вызвали дискуссии в печати». Как хочешь, так и понимай: то ли — яркий, возбуждающий плодотворные споры талант, то ли — будьте бдительны: не еретик ли?! Как недавно напомнил в книге о Пастернаке Дмитрий Бы-

ков, именно Огнев был инициатором первой после многолетней «паузы» публикации поэта в 1954 году: «...Он попросил у Пастернака новые стихи для «Литературной газеты» (в редакции которой тогда работал — А. Т.)... получил у Пастернака большую подборку, но в «Литгазете», возглавлявшейся Симоновым, публиковать эти стихи... не решились! ...Молодой критик чувствовал себя опозоренным перед Пастернаком, не знал, как сообщить ему об отказе, — и рассказал о произошедшем Вере Инбер. Та немедленно вызвалась помочь: «В «Знамени» теперь главным — Кожевников, я с ним в дружбе и вообще состою в редколлегии, я отнесу». И побежала в «Знамя» — где стихи в самом деле тут же поставили в номер». (К слову сказать, потом, когда разразилась гроза над «Доктором Живаго», пуганая ещё с 20–30-х годов — ещё бы: родственница Троцкого! — Вера Михайловна включилась в негодовавший на автор хор. Ныне это покойнице только и поминают, как и рецензию панического сорок шестого года на стихи Леонида Мартынова, — зато про «знаменский» эпизод запомнили). Начисто забыт другой питомец Литературного института, Владимир Саппак, талантливейший театральный критик, написавший первую серьёзную книгу о новорождённом искусстве — «Телевидение и мы». Ну, ладно, скажут: Саппак умер чуть не полвека назад, прожив очень мало. Но вот Александр Петрович Мацкин

одолеет почти девяносто лет! Мальчишеским его привели к Владимиру Галактионовичу Короленко, и тот, слегка проэкзаменовав гостя, сказал, что рад таким читателям.

Мацкин стал не только чутким читателем, но и наблюдательным, памятливым зрителем. Он был одним из последних могикиан, которые не только не раз видели легендарные спектакли Станиславского и Мейерхольда, но и часами просиживали на репетициях, знали, как рождались эти постановки, оказывались свидетелями и участниками закипавших вокруг них споров, порой перераставших в форменные бури. Замечательны его книги «На темы Гоголя», «Театр моих друзей», жизнеописание великого трагика Павла Орлёнева.

Патриарх театральной критики, он при этом нисколько не походил на патриарха. Ни внешне — сам шутовски соглашался, что мог бы сыграть одну из ведьм в «Макбете». Ни поведением — ему глубоко претил даже малейший намёк на позу вершителя судеб и репутаций. Одному, похожему на Мацкина скромностью, литератору простодушный редактор выговаривал: почему вы такой незначительной походкой ходите? Вокруг выступали важно, с апломбом вещали пошлости и банальности, как должное принимая почётные звания, регалии и высокие должности. «... Удручающее незнание прикидывается мудростью всеведения», — восхищался Александр Петрович тем, как один из его любимых актёров сыграл

самовлюблённого генерала Горлова в корнейчуковском «Фронте». А однажды кратко, но исчерпывающе охарактеризовал «коллегу», успешного побывавшего и крупным чиновником, и главным редактором журнала «Театр», и ректором Литературного института: «Да он же вместо подписи крест ставит!» Судьба Мацкина — это одна из разновидностей того явления, которое Немирович-Данченко определял как конфликт торжественного рабства и натуральной свободы. Натуральной, естественной походкой Александр Петрович прошёл сквозь труднейшие годы. Время повального страха, искалечившего множество судеб, и всяческих проявлений человеческой низости, корысти, услужливой готовности в очередной «проработочной» кампании примкнуть к гончей стае (поразителен запечатлённый в мацкинских мемуарах эпизод писательского собрания 30-х годов: «Когда Киришон, уставший от оправданий, налил себе стакан воды, послышался возбуждённый голос: «Не давайте ему пить, он обдумывает свой ответ!»). В своё время зачисленный в «безродные космополиты», тяжело больной, переживший смерть любимой жены, Александр Петрович трудился до последнего: уже потевряв зрение, диктовал воспоминания «По следам уходящего века», сожалел, что не сможет написать книгу о зрителях Художественного театра (оригинальнейший замысел!).

А теперь скажите, кто его по достоинству оценил и многие ли его нынче

знают?<sup>2</sup> И ещё об одной жизни — прекрасной, но краткой. (Последние слова из книги Сергея Львова о Дюрере: «Он так выбрал три цветка — бутон, распустившийся и опадающий, — что они стали рассказом о жизни. О жизни прекрасной, но краткой»). Полвека назад он написал статью «Род занятий — литературная критика» с подзаголовком «Горестные и радостные размышления о своей профессии». Действительно, тогда он уже был известным критиком с более чем десятилетним стажем. — И вместе с тем как-то не умещался Серёжа в рамках «своей профессии». Это проглядывало даже в самой статье, где — пусть мельком — говорилось о частых экскурсах автора в публицистику (однажды в результате и на основе их была даже написана пьеса, но критик был придиричив прежде всего к самому себе, быстро разочаровался в своём драматургическом опусе, а много лет спустя, припомнив его, подверг собственное детище форменному разносу). Вскоре Львов попробовал себя в прозе — и не без успеха.

Он был на диво любознательным человеком, в котором огромная эрудиция подлинного учёного (столь редкостный специалист по немецкой литературе сделал бы честь любому заведению самого высшего ранга!)

---

<sup>2</sup> Эта глава была уже написана, когда в журнале «Театр» (2006, № 2) появилась прекрасная статья Вадима Гаевского «Театральный критик Мацкин».

трогательно сочетались со способностью безоглядно увлечься новыми для себя проблемами, жизненным материалом, людьми и со всем жаром отдаться этому.

Вспоминается, как некоторые искусствоведы были поначалу шокированы тем, что некто «посторонний» отваживается писать о Питере Брейгеле и Дюрере, а затем не могли не отдать должного тому, как он это делает.

Перечитываю ту давнюю львовскую статью и нахожу там, где речь идёт о необходимости изучать жизнь, следующие слова: «Итак, дорога. Дорога даже не столько в прямом, сколько в переносном смысле этого слова, то есть постоянное и деятельное изучение жизни не из вторых рук, а непосредственно».

И думаю: вот настоящее обозначение жанра, в котором Серёжа трудился, что бы ни писал — критику, пьесу, фельетон, прозу, — письма с дороги, дороги познания мира, дороги жизни (ибо одна от другой, в сущности, не делимы!).

Человек более старшего поколения, Маргарита Алигер, страстно возражала на упрёки в недостаточном изучении жизни: «...Никогда я жизнь не изучала, // просто я дышала и жила. // ...Разве обошла меня сторонкой // хоть одна народная беда? // Разве той штабную похоронкой // Нас не породнило навсегда?» Не так же ли «просто» складывались отношения с жизнью и у того, о ком речь? «Я не знаю, где похоронены папа и Юра, —

говорится в его «Книге о книге». — Знаю только — они погибли под Вязмой. Перед боями командир хотел отправить Юру в Москву — ведь он был ещё совсем мальчишкой. Приказания Юра не выполнил... остался с отцом». Скорбные страницы летописи московского ополчения — это часть жизни самого автора. И к победной главе истории Великой Отечественной он тоже причастен: сдававшиеся в Берлине в плен гитлеровские генералы свои первые «интервью» давали военному переводчику старшему лейтенанту Львову (в его репертуаре был устный комический рассказ об этих «собеседованиях»).

Кроме общенародных счетов с врагом, кроме памяти об отце и старшем брате, были у молодого офицера и другие непримиримые несогласия с фашизмом. Обратите внимание на черту, которую будет сочувственно отмечать потом писатель в самых разных своих героях: «На картинках, рисунках и гравюрах Дюрера любовно запечатлены книги: толстые фолианты и тонкие томики, книги в прекрасных переплётах, книги, которые лежат на полках, столах и пюпитрах, книги, раскрытые для работы... Он рисовал руки, которые бережно снимают, крепко держат, осторожно перелистывают книги».

А вот — из повести «Гражданин Города Солнца» (о Кампанелле):

«Библиотека его ошеломила и ошастливила. Здесь было несколько сот томов! Может быть, тысяча! Богатство невиданное... Сам вид книг,

шероховатость или гладкость бумаги, узор букв, то, как ощущался переплёт, если медленно провести по нему рукой, запах бумаги — всё волновало Томазо». Быть может — рискну предположить — автор даже отдал герою свою собственную нежность. Он полюбил книги с детства — и почти тогда же узнал, что в Германии, на городских площадях запылали костры из неугодных фашистам сочинений.

Последнее, что вышло из-под пера Сергея Львова, похоже на признание в неостывающей любви: «Мне хочется думать, что, читая «Книгу о книге», вы ощутите хоть на мгновение близость к океанскому простору, широте и глубине, которые живут в понятии «книга». И сама глава, откуда взяты эти слова, называется «Почему не может быть конца у «Книги о книге». Горько, что уже больше четверти века нет с нами этого умного, ироничного и вместе с тем влюбчивого — в жизнь, в книги, в друзей, в женщин, наконец, — человека.

Как прекрасно, что он — был. И как бесконечно несправедливо и печально, что его сейчас редко вспоминают... На фоне этой всё возрастающей тотальной забывчивости чувствуешь себя прямо-таки осчастливленным «литературным стариком (в отличие от Тарасенкова, на восьмом десятке можно применить эти слова к себе уже без всякого кокетства), когда написанное тобой о литературном сановнике Тимуре Пулатове, возглавлявшем в 90-е годы Союз писателей, немедленно получает печатный от-

клик в газете (которую он сам и редактирует) и без обвиняков аттестуется как «последний рык мастодонта», и ты предстаёшь в устрашающем образе этакого дряхлого, но по-прежнему злобного критика-чекиста былых времён, у которого, дескать, руки в крови убиенных или, по меньшей мере, изгнанных с работы после его статей. Видно, старческий склероз тому виной, но никак не могу припомнить хотя бы одну из таких моих «жертв». Хоть бы подсказали!... Но всё равно ходишь голым.

### **Прошедшие рядом. Непотускневшие слова Марка Щеглова**

Ещё и года не прошло со времени его ранней (на 31 году!) кончины, как довольно крупный партийный функционер выговорил Александру Твардовскому, чьё имя первым стояло под некрологом покойному критику, за «тенденциозность» и «неуместность» этого поминального слова о человеке, всего-то, дескать, и написавшем «две статейки», одна из которых к тому же (о романе Леонида Леонова «Русский лес») осуждена в постановлении ЦК КПСС о журнале «Новый мир», и потому доброе слово о ней в некрологе являет собой чуть ли не политический грех: ревизия партийного решения! А теперь, полвека почти спустя, довелось прочесть в статье одного из нынешних молодых коллег кисловатое замечание, что щегловские статьи трудно дочитать до конца. И тут пришёл мне на память эпизод

из «весёлой цепочки рассказов» (выражение Марка) Виталия Бианки, который заметил и пересказал критик в рецензии: «Когда-то землю покрывало море, говорится в этой сказке, и звери жили очень неудобно, так как суши совсем не было. И тогда собрались звери и стали просить кита достать со дна моря немного земли. Кит не смог. Птичка Люля-нырец вызвалась помочь общей беде... Три раза ныряла Люля; пузырьки, выскакивавшие на поверхность, становились розовыми, а потом красными от Люлиной крови, но в последний раз, когда Люля вынырнула вверх лапками, чуть живая, с капелькой крови на кончике клюва, она всё-таки принесла с собой щепотку земли. Сделали звери из неё остров, зажили всюю, а про Люлю забыли».

Несмотря на свою молодость и трагическую кратковременность своей литературной деятельности, Марк Щеглов вошёл в число тех, кто в пору подлинного потопа спекулятивных, лакировочных и попросту бездарных «произведений» тоже с крайним напряжением сил, щепотку за щепотку создавал почву для настоящего правдивого искусства или, если воспользоваться словами Щедрина, способствовал расширению арены реализма. В некрологе было сказано: Щеглов «принёс на журнальные страницы запас молодой очистительной злости». Однако, перечитывая его статьи и дневниковые записи, ощущаешь в них и нечто иное, что сам он определял как

«романтически-приподнятое ощущение жизни». Это только внешне могло показаться чем-то близким к пресловутому социалистическому реализму. На самом деле, для человека, обитавшего в комнатёнке, в сущности непригодной для жилья, тем более такого тяжело больного, каким был Марк с детства, и годами донимаемого бедностью и всеми бытовыми неурядицами, это был высочайший, ни при каких обстоятельствах не сдаваемый духовный бастион, покоившийся на лучших человеческих идеалах.

В дневниках, не предназначенных для постороннего глаза, двадцатидвухлетний Щеглов писал про «свою душу, исхотевшуюся жизни», про «всю тоску по людям, по смеху, по задору, по дружному шагу, по ласке, по изяществу, по теплу, по здоровью». Как многие его сверстники, да и люди других поколений, он мечтал обрести всё это в реальности настоящего, в том манившем их идеальном социализме, который, чем дальше, тем чаще и грубее обманывал и оскорблял эти надежды. В первых дневниковых тетрадках ещё немало излишков трогательной юношеской доверчивости (впрочем, пишущий уже тогда был способен неделю другую спустя зорче взглянуть в то или в тех, чем или кем ранее увлёкся, и стряхнуть с себя морок очарованности, к примеру, каким-нибудь красноречивым и знаменитым режиссёром Д.). Однако уже печально памятное постановление о музыке повергает юношу в растерянность:

ему и непривычно, и как-то неловко сбиться с общего «дружного шага» и в то же время невозможно отступить от полюбившихся композиторов: «Я рукоплещу вмешательству партии в вопросы искусства... но я не согласен с «закрытием» Шостаковича и Прокофьева, с категорическим обвинением их в формализме. Никто из «традиционалистов» не написал ничего больше Первой, Пятой, Седьмой (симфоний Шостаковича — А.Т.), «Золушки», «Здравлицы» (Прокофьева — А.Т.) и др. Или не оплодотворяли они себя народной полифонией?»

И позже, размышляя о XIX съезде партии, Щеглов, начав «за здравие» («говорилось много верного и о литературе»), кончает «зауспокойными» нотами: «До какого же нелепого положения вещей дошло наше художество, если азы искусства, начатки теории приходится вдалбливать с высокой политической трибуны... «Искусство имеет право на преувеличение». Господи, Твоя воля!»

Так и ощущаешь, как нарастает в человеке оскорбленность за исповедуемые им, а в жизни попираемые идеалы и «очистительная злость»!

В последней напечатанной Щегловым статье он так характеризовал писателя, чью прозу анализировал: «наблюдает и описывает жизнь, прежде всего, по отношению к судьбе человека». Критик увидел в этой книге «раздумье над тем, как жить, каким быть, жадную тягу к хорошему в человеке и гадливость ко злу... Все это внутреннее, порою неосознанное на-

пряжение мы чувствуем в рассказах И. Лаврова и именуем это напряжением, это томление, зовущее писать, талантом». Всё здесь сказанное не в меньшей, если не в большей, степени относилось к самому автору этих слов, который, если можно так шутливо выразиться, многое просто щедро подарил писателю «со своего плеча».

В жизни тяжело, мучительно для себя передвигавшийся на спасительных и вместе с тем осточертевших костылях, Марк Щеглов ракетой ворвался в литературу, когда вслед за своим «дебютом» в «Новом мире» — работой «Особенности сатиры Льва Толстого» — опубликовал там же большую и страстную статью о «Русском лесе». Леоновский роман дал ему возможность выйти, выражаясь военной терминологией, на оперативный простор, обратиться к рассмотрению серьезнейших и трагичнейших жизненных конфликтов, не в пример тем, которыми изобиловала литература предшествующих лет и которые сам Щеглов мимоходом убийственно припечатал как «воробьиные стычки „хорошего“ с „лучшим“». В лучших традициях демократической отечественной критики автор статьи не только талантливо раскрывал смысл романа, но и развивал, «заострял», а то и убедительно оспаривал писательскую мысль, когда она, случалось, пасовала перед необходимостью говорить правду и «дипломатничала». Так, М. Щеглов «непочтительно» отмахнулся от



предложенной Л. Леоновым версии происхождения Грацианского, а вернее, как выразился критик, углубляя смысл образа, «грацианщины» — версий, шедшей «в ногу» с господствовавшим тогда мнением, будто в корне любых отрицательных явлений в советском обществе обнаруживаются исключительно всякие пережитки «проклятого прошлого», «родимые пятна капитализма». «Не жандармы сделали Грацианского таким, какой он есть, — подытоживает критик свой анализ «несомненно поверхностной», «необязательной полудетективной интриги», наличествующей в книге, — а ряд общественных условий, создавших пореволюционную поросль старого мещанства...» Как ни (по необходимости) сдержанно выражался критик, сама мысль о том, что и общество «победившего социализма» способно порождать опасные и отвратительные явления, вызвала недовольство вышестоящих инстанций и послужила поводом, чтобы приобщить щегловскую статью к перечню отъявленных «проступков» «Нового мира».

Подобное «напутствие» молодому критику, конечно, не обрадовало его, дав ощутить всю силу сопротивления официозного лагеря, но нимало не «отрезвило», не побудило усомниться в своих принципах, приятнях и антипатиях. В статьях тех двух лет, которые были ему отпущены судьбой, он по-прежнему придерживается убеждения: «Нет, ни во имя «оперативности», ни во имя чего-нибудь

другого искусство не должно уступать ни шагу».

Слова эти могли бы быть поставлены эпиграфом к статье «Реализм современной драмы», которую сам Щеглов уже не успел увидеть напечатанной в сборнике «Литературная Москва» (одновременно с вышеупомянутым некрологом), где она снова оказалась в ряду самых острых, злободневных и... самых ненавистных официозной критике произведений. Говоря о пьесах весьма известных, находившихся в фаворе у властей драматургов, Марк Щеглов ясно доказывал, что их герои «тяжело больны патетикой»: «чувствуя и думая на грош, они безумно расточительны в громких и важных словесах». Давно уже «облетели огни» многих тогдашних ловко срежиссированных триумфов, неотряхаемой пылью покрылись в библиотеках корнейчуковские «Крылья», а вот сказанное о них критиком живёт и поныне, не в бровь, а в глаз попадает уже совсем иным и, увы, не только сценическим «действующим лицам»: «Когда в кабине Ромодана появляется его старая учительница Александра Алексеевна Горлицвет, то не знаешь, чему больше удивляться: восторженно-трепетному лепету старушки или снисходительной растроганности Ромодана. К герою — вершителю судеб, к большому человеку — пришла старая нянюшка. Следившая, как ещё на школьной парте зрели его орлиные замыслы...

Г о р и ц в е т. Как я рада, Петя, что ты стал теперь у нас партийным

руководителем!.. В нашем доме все рады. Я пришла сказать тебе это.

Р о м о д а н. Спасибо. Постарайтесь оправдать ваше доверие...

Г о р и ц в е т. Я всё рассказывала, как ты учился, какая у тебя была исключительная память. Как ты любил историю».

Господи, Твоя воля! — не удержусь и я вслед за Марком. — До чего же живуч этот мертвящий, отравляющий елей, извергавшийся и на обкомовских крылатых орлов, и — бери выше! — на генсеков, не минующий и ныне здравствующих разноязыких президентов! А какой страсти исполнены строки последней щегловской статьи «На полдороге» о тех, кто «брезгает коркой хлеба и коммунальной квартирой», презрительно отзываясь «о бескрылой», «неудачливой в жизни мелкоте», которая «полезла на страницы книг... о так называемых «мелких дрызгах быта...» («И со всем тем, — замечает критик, — какая внутренняя вульгарность слышится в этом накоплении брюзгливых словечек «мелкий», «неудачливый», «мелкота...»). «Тут есть что-то особенно дорогое, — признаётся Марк в сопроводительном письме в редакцию, — не Лавров, а *общие слова*, которые касаются, как кажется, самого важного сейчас и в литературе, и в жизни». И добро бы, — добавлю, — если бы только в тогдашний, давно минувший час, но ведь и в куда более поздние: вспомним хотя бы яростные баталии вокруг «московских повестей» Юрия Трифонова, тоже

обвинявшегося в пристрастии к презренному быту, якобы в ущерб бесконечно превознесённому над ним бытию. Прочти Марк обличавшие автора «Обмена» и «Долгого прощания» статьи с их «убийственными» названиями вроде «Фламандской школы пёстрый сор...» (слова, не имевшие в первоисточнике, у Пушкина, ни тени осуждения!) — вот бы вскипел, вот бы ринулся в бой... или просто мог сослаться на давно им сказанное! В заключение нельзя не вспомнить и о той прекрасной, грустной, хватающей за сердце «музыке» которая то явно, то приглушённо звучит во всём написанном Щегловым, — нежной, трепетной любви к той самой жизни, которая столь многим его обделила, обнесла, столько лишила. Это не просто попытка утешить страдавшую за него мать — слова из письма к ней: «... как на духу, скажу раз навсегда: ведь давно уже почти несколько я не завидую никаким атлетам и конькобежцам-фигуристам, никаким здоровякам — ей-ей, у меня подчас бывает столько счастья и веселья в жизни, что хоть с другим делись, — я и делюсь, как только умею и где только могу».

Но это и не вся правда о собственном ощущении жизни. Явственней всего оно, пожалуй, выражено на одной из страниц не самой известной статьи Марка, где речь идёт о выздоровлении героини после тяжёлого недуга, состоянии, слишком хорошо известном самому критику. «Цельный месяц длилась её ночь, — цитирует он

леоновский текст, — выздоровление началось однажды утром: вся розовая яблоня-сибирка гляделась в распахнутое настезь окно, с горстку опавшего цвета нанесло ветерком на одеяло. Необыкновенная новизна сквозила во всём... Голова легонько кружилась от пьяноватого запаха тлеющих опилок, нагретых полуденным припёком, но, пожалуй, ещё больше кружилась — от вольной обширности неба, где проносились облака, такие громадные и бесшумные. — И продолжает. — Почти чудесная передача *невыразимого состояния* — внезапно возвращённой жизни весной. Особенно радостны эта горстка опавшего цвета на одеяле и громадные, бесшумные облака... В них — ощущение прелести и слабости становящейся на ноги, готовой вновь расцвести жизни... и великодушная, беспредельная сила природы, ощущаемая всем существом человека». Просить ли прощения за столь пространную цитату?! «Как много в этом звуке... как много в нём отозвалось», быть может, даже, помимо прямой авторской воли, вся «душа, исхотевшаяся жизни» и восторженно и грустно любующаяся ею, благодарно ею озарённая, как описанная в одной дневниковой записи Марка: весенняя хрупкая, «тающая золотая сосулька».

## **Прошедшие рядом. Ефим Яковлевич**

Надо сказать, что чехословацкие события мы переживали вместе с семьёй Ефима Яковлевича Дороша, с которым всё теснее сближались

с конца пятидесятых годов. Познакомился я с ним ещё в том же «Огоньке», где вышли несколько его рассказов, а в 1952 — году опубликовал в «Комсомольской правде» рецензию на книгу Дороша «С новым хлебом».

Во втором выпуске уже знакомой читателю «Литературной Москвы», имевшей столь драматическую судьбу, Ефим Яковлевич начал печатать «Деревенский дневник», который хвалили даже рьяные хулители сборника.

Очерк этот начинался словами: «Остановка в лесу, километрах в ста с небольшим от Москвы. От шоссе в сторону уходит мягкий и пыльный, освещённый солнцем просёлок». Двадцать лет спустя без малого, когда Дороша не стало, я писал, что эти строки кажутся почти символическими: «В них словно бы запечатлелся тот знаменательный поворот, который произошёл в творчестве самого писателя, уже признанного, уверенно и не без успеха следовавшего по «шоссе» и вдруг, но на самом деле после некоей остановки, раздумья, свернувшего на какой-то неведомый «просёлок». Действительно, после многих лет работы разъездным корреспондентом, чьи маршруты доселе были весьма разнообразны, Ефим Яковлевич, перенеся тяжёлую болезнь, стал вести более «осёдлое» существование, по несколько раз в год живя возле Ростова Великого, а нередко — и в нём самом, и всё более входя в круг местных забот и проблем, становясь «своим» и для хозяев

избы, которую облюбовал (в городе же — для владельцев небольшого домишки), и для ростовской, «земской» интеллигенции.

Весной 1958 года, возвращаясь из командировки, я то ли ещё в Мурманске, то ли на какой-то другой станции купил свежий номер журнала «Москва» с продолжением «Деревенского дневника» («Литературной Москвы» к тому времени уже не существовало). Оно мне настолько понравилось, что по приезде домой я позвонил Дорошу и побывал у него на Ново-Песчаной улице.

Во время этой и последующих встреч и разговоров Ефим Яковлевич «заразил» меня своим восторгом перед «Письмами из деревни» А. Н. Энгельгардта, как раз тогда переизданными. Книга эта была написана в конце XIX века ученым-химиком, высланным из столицы в своё смоленское имение Батищево, и поневоле вынужденным заняться хозяйством.

«Должен сознаться, — писал Энгельгардт об одном батищевском знакомце, — я сам чувствую к Савельичу особенное расположение и именно вследствие сходства наших положений... Я — отставной профессор; он — отставной кондитер. Вместо того чтобы читать лекции, возиться с фенолами, крезолами, бензолами, руководить в лаборатории практикантами, я продаю и покупаю быков, дрова, лён, хлеб, вожусь с телятами и поросятами...».

На «писательство» же учёного подбил Салтыков-Щедрин, который

и стал печатать его очерки в своих (и некрасовских) «Отечественных записках».

Нимало не идеализируя русско-го крестьянина, Энгельгардт вместе с тем с уничтожающим сарказмом отзывался о его тогдашних многочисленных и разнообразных «опекунах» (этой орде «благородий», которой отдали под команду мужика), готовых закабалить его бесконечными предписаниями:

«Господи, да что же это такое? Опыт миллионов земледельцев-хозяев, долготелая практика показали, что рожь нужно сеять в пору... что эта пора для разных мест разная, и вдруг какой-то энтомолог решает, что (ради борьбы с «гессенской мухой» — А.Т.) пора эта должна начинаться не ранее 15 августа, а земство делает обязательное постановление и предписывает миллионам земледельцев сеять озимь в назначенный срок!.. Или уже раз человек делается чиновником, так Господь у него все способности отнимает?»

Помимо безупречной доказательности и обстоятельности энгельгардтовских «писем» они временами достигают подлинного сатирического блеска: «Я противник всяких чиновничьих мероприятий, касающихся внутренней жизни... Все такие мероприятия никогда ни к чему не приводят, всегда ловко обходятся и только наносят вред народу, затевают его и, по мнению мужиков, делаются только им в «усмешку». Точно вот — «на тебе, ходи вверх ногами!»

И ходим, то есть не ходим, а делаем вид, что ходим. Идёшь обыкновенным порядком, встречаешь начальство — «отчего не кверху ногами?» «А вот сейчас, ваше-ство, отдохнуть перевернулся», — и делаешь вид, что хочешь встать кверху ногами. Начальство само знает, что нельзя так ходить, но, довольное послушанием, милостиво улыбается и проследывает далее».

Всякий, кто помнит или хотя бы знает о стиле руководства сельским хозяйством в сталинские и последующие времена, может оценить, насколько злободневно звучали тогда эти «письма» о «делах давно минувших дней».

Ну, не орда «благородий» — так армия партийных чиновников, всяких уполномоченных и проверяльщиков! И чем не «ходи кверху ногами» знаменитые кампании по внедрению повсюду кукурузы, искоренению травополя и т.д. и т.п.?! Пример Энгельгардта (да ещё и Глеба Успенского, другого любимого автора «Отечественных записок») во многом вдохновил Дороша на ведение своего «Дневника». Осенью 1958 года я очень высоко оценил его книгу в статье «Действенная летопись» («Новый мир», № 10), где не был забыт и Энгельгардт.

Теперь нетрудно увидеть в ней иллюзии и надежды, увы, не оправдавшиеся, о которых уже говорилось выше — в рассказе о семье Федосеевых, но главный пафос статьи был в утверждении, что «Деревенский дневник» ценен, если вспомнить

давнее выражение Герцена, «подслушиванием народной жизни», скрытной, неясной самому народу, не обличившейся официальным языком». В дальнейшем книга всё более расходилась с тем, что вещалось на этом «языке», и, горячо одобренная в речи Твардовского на одном партийном съезде, в то же время вполне закономерно стала вызывать нападки в печати. Я продолжал внимательно следить за новыми частями «Дневника» и откликаться на них. Упрочивались и отношения автора со мной и Ниной, особенно, когда по его совету мы с 1966 года стали снимать дачу в той же деревне Арханово, где и семья Дорошей (по другую же сторону Ярославской железной дороги, возле станции «55-й километр», летом жили в своём домике давние друзья Ефима Яковлевича — художники Татьяна Алексеевна Маврина и Николай Васильевич Кузьмин, постепенно ставшие и нашими добрыми знакомыми).

Мы встречались с Дорошем почти каждый день, а во время чешского кризиса вечерами слушали по его приёмнику всё более тревожные вести из-за пресловутого «бугра». Другим волновавшим всех нас предметом были драматические события, происходившие с «Новым миром», куда, по приглашению Твардовского, Ефим Яковлевич годом раньше пошёл работать членом редколлегии по разделу прозы. Вспоминают, что некогда, держа в руках сигнальный номер журнала, где были в 1952 году

опубликованы «Районные будни» Валентина Овечкина, Александр Трифонович сказал: «Ну, теперь поплыло!..» И в самом деле, за овечкинским очерком последовали другие, расширявшие и углублявшие совершённый им прорыв в изображении реальной сельской жизни. Среди них был и «Деревенский дневник», ставший главной книгой автора, если употребить ходкое в те годы выражение Ольги Берггольц. Я уже упоминал, что предшествующий сборник его рассказов назывался «С новым хлебом». Однако поистине новым хлебом стал именно «Дневник». В конце века, после смерти писателя, в ответ на предложение переиздать эту книгу, один из так называемых внутренних издательских рецензентов, учуяв начальственное отношение к ней, кинулся рьяно доказывать, будто дорошевский хлеб, дескать, уже слишком давно испечён, зачерствел и уже мало съедобен. Между тем, хотя что-то из сказанного ранее в книге с ходом событий и становилось уже не столь актуальными, или даже заметно переосмысливалось, но чем дальше писался «Дневник», тем круче набирала высоту авторская мысль, тем большей оригинальностью отличался он по сравнению с очерками других авторов, стартовавших одновременно с Дорошем и, в большинстве своём, так и оставшимися в фарватере, проложенном «Районными буднями». В сущности, книга постепенно перерастала своё «деревенское» имя, и то, что её посмертное издание было озаглавлено

но иначе — «Дождь пополам с солнцем», объясняется не только и даже не столько некоторыми привходящими, редакционными причинами, сколько тем, что круг наблюдений и размышлений автора чрезвычайно расширился: «героиней» очерка стала не только маленькая деревня, где на долгие годы обосновался писатель, но и жизнь ближайшего райцентра или, как он именуется в «Дневнике», Райгорода, на самом же деле — старинного русского города Ростова Великого, вошедшего на дорошевские страницы во всём разнообразии и богатстве своего многовекового бытия. Сельская жизнь всё больше изображалась в книге «пополам» с городской, настоящее — в живых связях с прошлым. В те годы знаменитый ростовский кремль, тяжко пострадавший от урагана, постепенно воскресал, восстанавливаемый архитектором Владимиром Сергеевичем Баниге, ставшим близким другом писателя, и занимал всё большее место в сердце автора книги, любившего подолгу жить в одной из крепостных башен.

Как после десятилетий молчания зазвучали (не без помощи Дороша) кремлёвские колокола, «ростовские звоны», так и на страницах «Дневника» в полный голос заговорила сама история России, не оскопленная вычерками и вымарками из неё, например, патриотической и просветительской деятельности многих деятелей православной церкви, монастырей и их, зачастую безымянных, летописцев. Позже, живя неподалёку

от Троице-Сергеевой лавры, Ефим Яковлевич будет увлечённо писать о Сергии Радонежском. Заметим: это произошло задолго до того, когда всё, связанное с религией, что называется, вошло в моду. Покамест на страницах того же «Нового мира» можно было прочесть и нечто совсем иное, вполне ортодоксально «советское». Например, в пылу полемики с явственно зазвучавшими в журнале «Молодая гвардия» (разительно изменившимся с тех пор, как мы с Ниной там работали) мотивами национальной исключительности и некоторой идеализации прошлого (ещё куда как далёкой от той, что набрала силу позже), Александр Григорьевич Дементьев в статье «О традициях и народности» (1969, № 4) явно иронически отзывался о стихах, посвящённых «белокаменным красавцам-соборам» или оплакивающих их разрушение. Не сомневаюсь, что и та ироническая интонация, с которой Дементьев упоминал о «патриотах-пустынножителях» и «патриотах-патриархах», не могла не задеть Дороша, который годом ранее с величайшим пиететом и уважением писал в очерке «Размышления о Загорске» (послереволюционное имя Сергиева Посада) не только о самом Сергии, но и о целой плеяде «выдающихся деятелей и блестящих умов» среди представителей церкви тех и последующих времён. Известно, что Ефим Яковлевич высказывал претензии к дементьевской статье до её напечатания, а снял их лишь тогда, когда она — а, в сущности, «Но-

вый мир» вообще — стала мишенью яростных доносов, носивших уже откровенно националистически-шовинистический характер и обвинявших журнал Твардовского в отсутствии патриотизма.

Примечательно, что писавшие и подписывавшие эту инвективу (а в её составлении участвовали не только те, чьи имена стояли под опубликованным в софроновском «Огоньке» текстом, как об этом свидетельствует в своих мемуарах один из первоначальных авторов этого «письма» Виктор Петелин) якобы «не заметили» статью Дороша «Образы России», напечатанную номером раньше, чем дементьевская. Между тем, в ней были не только те же образы, которые критик ставил в вину «молодогвардейцам» (например, «вставший над озером в лиловеющем предвечернем небе белый многобашенный и многоглавый, блистающий чешуйчатым серебром и сияющий золотом Ростов»), но и подлинный дифирамб древнерусской культуре, увиденной не только в её исконной крестьянской природе, но и в разнообразных связях с европейскими соседями. Эта статья противостояла не только инсинуациям насчёт «антипатриотизма» «Нового мира», но и невежественному противопоставлению отечественной культуры западной, да и всей мировой.

Вклад Ефима Яковлевича в копилку журнала был немал и к тому же, как вы только что убедились, ярко индивидуально своеобразен.

Думается, что это не всегда по достоинству оценивалось его сотоварищами. Даже первоначальное расположение Твардовского к Дорошу как-то ослабело, увы, не без влияния внутриредакционных дипломатических манёвров. Недаром при всей своей сдержанности Ефим Яковлевич характеризовал одного из замов Твардовского как «византийца».

Особенно же тяжело пришлось Дорошу, когда после ухода Твардовского и увольнения его ближайших сотрудников, ему самому и другому члену редколлегии, Александру Марьямову, воспрепятствовали покинуть журнал, как тогда выражались, в порядке партийной дисциплины. К сожалению, и сам Александр Трифонович и его окружение отнеслись ко всем оставшимся в редакции с необычайной резкостью. Владимир Лакшин в своём ныне опубликованном дневнике честил их предателями, штрейкбрехерами, коллаборантами. Впоследствии Алексей Кондратович дополнил свои записи того времени примечательным комментарием: «Но и тогда была у меня простейшая житейская мысль: а что делать Дорошу, Марьямову, остальным? ... легко было негодовать нам и мне, тому же Лакшину: нас, так или иначе, трудоустроили. А тех что, на улицу? По собственному желанию? Да кто же их потом трудоустроит, тем более — как нас, с хорошими окладами?» Между тем, Ефим Яковлевич был уже смертельно болен. Последней радостью его жизни оказалась поездка в Бол-

гарию, история и культура которой его чрезвычайно интересовали. Но увы, впечатлениям от этого путешествия, размышлениям, которые оно породило, уже не суждено было воплотиться в слове. Ефим Яковлевич задумывал тогда рассказ «Последняя охота Василия III». Последняя охота... Последняя поездка...

Кстати, о поездках. Ещё до болгарской Дорошу предлагали посетить Польшу, а он, к нашему удивлению, что-то тянул и медлил. Нина уговаривала его поторопиться и несколько раз спрашивала, как идут дела... пока его жена, Надежда Павловна втихомолку не умолила её больше этой темы не касаться, объяснив, что Ефим Яковлевич потерял паспорт, а обращаться в милицию по этому поводу не хочет ни в какую! Тогда мы, признаться, подивились этому «капризу». Однако ведь, по правде говоря, для меня самого необходимость иметь дело не то что с милицией, но даже с домоуправлением всегда была сопряжена с мыслью о возможности каких-то осложнений и неприятностей. А совсем недавно я прочёл в книге Дюлы Ййеша, посетившего СССР в 1934 году, о его разговоре с нашим соотечественником, который на вопрос, как ему живётся, ответил, что всё бы ничего, пока не зайдёшь в учреждение. «День прошёл, Бычкова (управдома) не встретила — и я уже рада», — говорится и в одном дневнике того времени.

За истекшие с той поры десятилетия это «мироощущение» могло толь-



ко укрепиться. А у Дорошей к тому же была своя незаживающая рана. Брат Надежды Павловны, генерал, попал под Сталинградом в плен и потом испытал на родине всё, что было «положено» таким, как он. Лишь многие годы спустя его имя появилось в печатавшихся в «Вечерней Москве» списках расстрелянных.

Однако и этой кары, оказывается, было недостаточно! И в 1950 году в квартиру, только что полученную Дорошем как сотрудником «Литературной газеты», явились частые по тем временам незваные гости — и отнюдь не за самим писателем, как было, подумали все домочадцы, а за... старухой-тёщей, матерью «изменника Родины». Надежда Павловна разрыдалась, но один из «гостей» посоветовал ей лучше не убиваться, а быстро собрать вещи, да потеплее.

Когда Ефим Яковлевич сообщил о случившемся начальству, симоновскому заместителю Борису Рюрикову, то, услышав про возраст «преступницы», даже этот ортодоксальнейший и выдержанный партиец за голову схватился.

Так что — были свои резоны для дорошевских «капризов»! Бывают странные сближения, как говорил Пушкин. В конце «Деревенского дневника» говорилось о том, как вынужден уйти на пенсию талантливый председатель колхоза Иван Федосеевич, который своей самостоятельностью и неуступчивостью вконец надоел начальству. Нечто подобное произошло и с Твардов-

ским. Ефим Яковлевич страдальчески воспринимал всё случившееся и недаром лишь ненамного пережил Александра Трифоновича. Тяжелейшая операция на мозге оказалась неудачной, и последние полтора года Дорош провёл в прострации и полной физической беспомощности, лишь изредка с прежней остротой реагируя на услышанное от редких посетителей. Помню, какой сарказм выразился на его лице, когда я пожаловался на какие-то очередные пакости в Союзе писателей: а чего, дескать, вы ожидали?! В другой раз он бурно обрадовался приходу В. С. Баниге, воскликнув с явственной шутиливой интонацией: «А мы с вами знакомы!»

Ефим Яковлевич умер 20 августа 1972 года. Довольно долго остатки коллектива, как с явной язвительностью однажды в сердцах назвал Твардовский пресловутых «коллаборантов», собирались в этом осиротевшем доме и в августе, и 25 декабря, в день рождения писателя. Потом — кто умер, кто уехал, кто запаматовал про эти даты или даже счёл эти «поминки» уже необязательными для себя. Нас остаётся всё меньше, но светлая память об этом человеке жива по-прежнему. У меня дома висят прекрасные фотографии ростовского кремля, сделанные сыном Ефима Яковлевича, Ильёй. И порой при взгляде на них вспоминается жаркий летний день, когда вновь, впервые после десятилетий молчания, зазвучали монастырские колокола (как уже

упоминалось, не без дорошевской помощи; даже верёвки для них были куплены на его деньги).

Съехалось немало народа — в том числе сотрудники и авторы «Нового мира», Сергей Бондарчук со своей съёмочной группой, которым знаменитые «ростовские звоны» могли пригодиться в фильме «Война и мир». Приехал и старый приятель Дороша — поэт Степан Шипачев, и в какой-то момент я застал его задумчиво созерцающим пасшуюся неподалёку лошадь. Очень хотелось сделать снимок этого бывшего кавалериста с подписью: «Забыл, как называется этот агрегат...». И вот мощно зазвучали над Кремлём, городом, озером Неро ожившие колокола! Было торжественно и празднично (а уж что творилось в душе самого Ефима Яковлевича!) Шёл 1963 год. Ещё вроде бы стояла оттепель, хотя временами уже потягивало холодком. Ещё и предсказать нельзя было, какие грядут повороты в судьбах некоторых из приехавших (вот промелькнул, например, ещё молодой Владимир Максимов, будущий эмигрант и создатель знаменитого журнала «Континент»...) Но это всё ещё впереди, а пока — сияет солнце, звонят колокола, блестит озёрная гладь. И улыбка от какой-то немудрёной шутки трогает утомлённое лицо только что отэкзаменовавшейся старшей дочери Дороша — Наташи, у которой впереди — взрослая жизнь, замужество, рождение Паши, последнего утешения угасавшего деда...

## Прошедшие рядом.

### Игорь Дедков и его дневник

Совсем молодым, двадцатипятилетним человеком Игорь Дедков записал: «Может быть, этот дневник прирастёт к моей душе, и я буду аккуратен в записях». Последнее не всегда и не легко давалось. В дальнейшем он не раз будет казниться за допущенные пропуски, за неполноту записей, хотя эту «вину» он во многом может поделить с самой эпохой, отнюдь не благоприятствовавшей скрупулёзным трудам отечественных пименов. Даже в тетрадке за «оттепельный» 1962 год можно прочесть: «Я, наверное, рискую, делая такую запись (о том, что власти «за нас думают, за нас решают», — А. Т.). Илья Эренбург не зря писал, что наше время оставит мало дневников, писем, исповедей. Оно — больше время анкет, протоколов допросов, добровольных объяснений, написанных с горечью и отвращением. А я всё-таки пишу. То ли я верю в доброту новых времён, то ли я уже ничего не боюсь, потому что верю в свою правоту и невиновность». И уже десятилетия спустя, на сломе эпох, читая былых летописцев, Дедков задавался вопросом: «...А о нашем времени, много ли будет?» Ответ, конечно, ещё впереди. Но что касается самого писавшего это, он своё свидетельство оставил. И чрезвычайно драгоценное, несмотря на то, что, по первому впечатлению, долгое время вроде бы находился отнюдь не в эпицентре событий отечественной истории конца отшумевшего века.

Когда-то одного мальчика в школе наказали — в угол поставили. Дома он радостно рассказал, что ему достался лучший угол. Я припомнил этот случай лет двадцать назад, когда Дедков прислал мне свою книжку «Во всё концы дорога далека», открывавшуюся восторженной статьёй о Костроме и вообще — о «русской провинциальной жизни, глубине страны». Попал же он туда по пресловутому вузовскому распределению и не без участия всемогущего тогда известного ведомства, которое и в дальнейшем не спускало своих глаз «из-под голубого околыша», как сказано в дневнике, с этого лидера университетской молодёжи в бурную пору 1953–1957 годов. Дедков был из тех, кто пылко рванулись «на подмогу» хрущёвской оттепели, готовые подставить своё плечо под ношу, и кому в ответ незамедлительно дали по рукам «за нездоровые, антипартийные настроения», а на самом-то деле — за неумение или нежелание довольствоваться ролью «поддерживающих и одобряющих», но, упаси Господи, не делающих каких-либо собственных выводов и умозаключений.

Впоследствии он начал критическую статью о творчестве Юрия Куранова цитатой из его первого рассказа: «Полёт от железнодорожной станции Шарья до районного села Пыщуг похож на прыжок кузнечика», и писал, что «новосёл» «оглядывался вокруг потрясённо, словно Колумб на новом берегу».

«Прыжок» же самого Дедкова из столицы в Кострому больше походил

на административную высылку «неблагонадёжного». Не кузнечик — в зеленой траве не спрячешься, будешь под приглядом — как оказалось, на многие годы...

Двадцать лет спустя Игорь Александрович записал в дневнике, что «люди бывают жизнью затасованы, как карты — не найдёшь, где и краешком высунется». Таких судеб было много, не обо всех ещё мы дознались. В иных биографиях слово «провинция» оказывалось синонимом той самой «среды», что «заела». Наверное, когда Салтыков-Щедрин называл город, куда был сослан, не Вяткой, а Крутогорском, то имел в виду не только рельеф местности, но и поговорку о крутых горках, укатавших Сивку. Сивка и в прошлом веке был нямало не застрахован от такой участи! С ним могло стать то же, что с деревней, куда наезжал Дедков. «Перемена одна, — сказано в дневнике, — от года к году — одна: трава выше, кусты гуще, тропа незаметнее. Всё зарастает, всё пустеет». Нелегко приходилось и ему. «Я был одинок в те первые пустые вечера в этом городе, — признавался он через год после водворения в Кострому. — Будущее, тяжёлое своей неопределённостью, висело над моей головой, было моим небом... Я задыхался в те дни...» Сказывалась и болезнь лёгких.

Но оказалось, что жалеть себя — недосуг. В блужданиях по незнакомым улицам Колумбу с невыветрившимся «университетским духом пятьдесят шестого года» и с прочно

«угнездившимися в душе идеалами» многое открывалось; многое задевало, ранило, например, поразительная схожесть каких-то сцен, атмосферы со знакомым по литературе о прошлом: «отпечаток бедности, её неизменности», резко контрастировавшей с гремевшим из радиорепродукторов восславлением «неслыханной новизны и величия нашего времени». Готовность всем сердцем откликнуться на чужие заботы и нужды была присуща Дедкову с ранних лет. Ещё в студенческие годы в дневнике появляется сочувственная запись: «У меня новый дорогой костюм, а у него — дешёвенький, невидный. У меня позади школа и два курса университета. А у него?.. У него — инвалидность второй группы и двое детей. Образование — 9 классов. Будущего нет — учиться не позволяет рана. Разве это справедливо? Он в 17 лет пошёл на фронт — я не видел горя... Разве имею я право жить лучше, чем он сейчас?» Подобные «высокие окликающие голоса», о которых он напишет в статье о Куранове, тревожные, будоражащие, зовущие, особенно явственно слышал Дедков в костромском «захолустье». Подходящее ли слово?! Это Кострома-то «далека от культурных центров» (смотри словарь на «захолустье»!), с её дивными архитектурными ансамблями, музеями, библиотеками (где Дедков вскоре и навсегда стал своим человеком), со Щельковым, этим «рабочим кабинетом» А. Н. Островского, с памятью

о Катенине, Некрасове, Писемском, Кустодиеве, Розанове, Флоренском?! «Периферия»? И как это пришло в голову окрестить громадные российские пространства словом, которое толкуется как «внешняя, расположенная по сторонам, не центральная часть чего-то»! Этак ведь можно, скажем, поля и леса зачислить в периферию деревни... Нет, не какие-то задворки, а почва, плодороднейший чернозём отечественной культуры и истории — вот что такое провинция.

Можно сказать, что Дедков целых два вуза окончил, — не только столичный, но и «провинциальный университет», по выражению любимого Игорем Герцена, который тоже там, в Вятке и Новгороде, с успехом обучался.

Когда Дедков позже скажет об истоках шукшинской прозы: «Тут отзвук исповедей, излитых в пристанционном буфете, тут Шахерзада общего вагона», — он малость и свои собственные «университетские курсы» добром помянет.

Чтобы определить смысл и содержание его костромских дневников, нет лучше блоковского выражения: «подземный рост души». «Краешком высываться», если ещё раз вспомнить собственные дедковские слова, он стал уже в своих разнообразнейших заметках и статьях в местной печати. «...Читатели в анкетах пишут обо мне добрые слова, — отмечено в дневнике. — Ни о ком другом не пишут». В 60-е же годы Дедков как критик начал выходить на все-

союзную орбиту, а в 70–80-х становится одним из самых заметных, активнейшим образом работающих представителей этого поистине горячего цеха. Уже первый сборник его статей — «Возвращение к себе» (1978) — вызвал много одобрительных откликов. Ещё в 1960 году, живя в вологодской деревне Шабаново (ныне уже не существующей), Дедков исписывал страницу за страницей дневника, размышляя о молчаливых опустевших избах, о таких, как тётя Тася, не дождавшаяся с войны жениха, и горестно и гневно заключал: «Историки всё ещё пишут жизнеописания вождей... без конца твердя о народе — творце истории... Будь на свете Господь Бог, взял бы он за шиворот нашу любезную историческую науку и привёл бы её к творцам истории за стол, под чёрную икону, под фотографии убитых, и сказал бы так: здесь ваш единственно верный первоисточник. Вслушайтесь, как дышит этот дом, сложенный сорок лет назад, взгляните в морщины хозяйки, в её отполированные трудом ладони; в её выцветшие глаза...» Это написано не только до большинства его собственный статей, но даже до подлинного разворота «деревенской прозы». Тут исток и его первой статьи в «Новом мире» («Страницы деревенской жизни»), и других — о Федоре Абрамове и Василии Шукшине, Валентине Распутине и Евгении Носове... Из тех же «провинциальных» родников, обогащённых к тому же и собственной детской памятью («Мне было семь, когда

в сорок первом мы бежали из Смоленска в ближние, а потом в дальние деревни, в ближние, а потом дальние города», — скупно обмолвился Дедков однажды; вот тебе и «не видел горя»; а если ещё заглянуть в воспоминания, запечатлённые в дневнике...), — из них же и постоянное тяготение ко всему, связанному с трагедией войны, с памятью о погибших. Думается, что с писателями фронтовых поколений Дедкова роднила ещё и некоторая общность судьбы — сознание невосребованности.

Высоко ценимый критиком Валентин Овечкин в конце войны написал повесть «С фронтовым приветом», герои которой много размышляли о будущей мирной жизни, о необходимости исправить допущенные ошибки, о разных возможностях будущего развития общества. Вполне возможно, что об этом думали многие. Но, как известно, сталинская политика послевоенных лет стремилась жестоко пресечь эту опасную «самодеятельность», вытравить мало-мальски критический дух. В свою очередь, подобный «от ворот поворот» испытало и дедковское поколение, что он сам ощущал очень остро. «Мы жалеем бездействующие механизмы и машины, — замечает он в 1964 году. — Но кто сосчитал КПД современного человека?» И уже всем «лично»: «...Простаивает без надобности кому-либо, чему-либо моя душа». А ещё десяток лет спустя, после крушения планов работы в интересном журнале «Проблемы мира

и социализма», констатирует: «Такие люди, как я, им не нужны».

Тут, помимо драмы Дедкова, проступает и другая — самой общественной системы, упрямо отторгающей, отталкивающей как раз тех, кто был бы способен её обновить, улучшить, придать ей поистине «человеческое лицо». Характерно, что ещё во времена университетских злоключений Дедкова один из его защитников вопрошал в «высоких» кабинетах: «С кем вы останетесь, если такие головы вам не нужны?» Будущее ответило на этот вопрос самым исчерпывающим образом. В монографиях недавних времён о писателях или других деятелях культуры XX века почти неизменно содержалась фраза: «Только после Великой Октябрьской социалистической революции его талант смог полностью развернуться», или нечто в этом же духе. Быть может, нам ещё предстоит и в новых сочинениях увидеть аналогичные штампы: дескать, лишь после августа 1991 года, и т.д., и т.п. Но, увы, сам я лишён счастливой возможности стать в этом отношении «первопроходцем»! Да, как писал Дедков уже в перестроечную пору, в 1988 году, «то, за что ратовал, многое осуществилось, становится общим местом...» Да, недавний «поднадзорный» ещё в 1987 году получил приглашение стать обозревателем журнала «Коммунист» (позже — «Свободная мысль»). И то, что именно Игорь Александрович с августа 1991-го и до своей, увы, ранней кончины был там первым замести-

телем главного редактора — не свидетельство ли огромных перемен? Однако ничто более ярко, чем этот же дневник, не передаёт пережитую Дедковым в последние годы жизни драму. Не поддаваясь послеавгустовской эйфории, охватившей многих деятелей, Дедков одним из первых подметил опасные тенденции, возникшие в обществе, когда «политическая ставка была сделана не на лучшие, а на худшие качества человека»: «Теперь первой общественной и человеческой ценностью объявлена способность к личному обогащению, и этой целью освящены все методы и пути её достижения».

Одна из лучших статей критика этой поры — «Иллюзия чистого листа»: о традиции отношения к жизни как к объекту для всяческих экспериментов, отношения, объединяющего «теоретиков революции и тотальных шоковых реформ», равно убеждённых в собственном праве «разрушать и строить заново, не очень-то церемонясь в обращении с материалом, увы, живым и потому недостаточно прочным». В отличие от них, Дедков был подлинным демократом, принимавшим близко к сердцу и ежедневные житейские злоключения бедного «материала» («Как живёте, мои мальчики? Что жуёте, мои мальчики?» — только ли к своим детям обращены эти слова?) — и всю потрясённость происходящим, когда «разрастается вокруг чужой мир» и «нам хотят сказать, что всё, чем мы руководствовались в жизни, чему следовали в поступках — ничто».

«Многие теперь, наверное, поняли, что было пережито в России в семнадцатом–восемнадцатом году, — пишет Дедков в мае 1992-го. — Тогда гнули страну в одну сторону, теперь — в противоположную... От того, что знал Егора Гайдара, работал вместе с ним, то есть близко наблюдал (в редакции «Коммуниста» — А. Т.), все предприятие, во главе которого он поставлен, кажется мне какой-то умственной, теоретической затеей: вот приняли на редколлегии его, гайдарову, статью и теперь вот печатаем, да не в журнале, а — по живому впечатываем в тело, плоть России». Ради пущего оправдания своей «затеи» за копёрщики и апостолы шоковой терапии и безоглядной приватизации прибегали к своего рода «ковровому бомбометанию», характеризуя весь предшествующий исторический период как беспросветную кровавую тень. И хотя Дедков прежде сам писал о костоломной механике коллективизации и массовых репрессий, ему было невыносимо видеть, как, по его выражению, «расклёвывают семьдесят лет жизни многих поколений». «Теперь я вроде бы попадаю в консерваторы, — дивился он. — ...Зато остальные, надо полагать, молодцы и прогрессисты...» Действительно, он наблюдал удивительные метаморфозы, когда в смирнехонько пересидевших эпоху застоя (порой на весьма высоких постах) вселился пылкий «рреволюционный дух»: «несутся, размахивая сабельками, те же самые, что были на плаву и прежде... Толь-

ко вчера они строили социализм, теперь принялись строить капитализм». Оставаясь приверженцем своей давней мысли о «многомерности» жизни, её «ослушной пестроте», Дедков настаивал на том, что чохом осуждаемая нынче история революции и страны «состояла... из судеб миллионов людей, из их коротких земных сроков, из долгих лет труда и злоключений, из бесконечных усилий обрести достойное существование».

«Кто это, помыслив себя божьим судом и карающей десницей, честит всех подряд — поколение за поколением: изолгались, исподличались, изработались!.. — говорилось в его предисловии к «Новомирскому» дневнику Алексея Кондратовича. — И вдомек ли бесстрашным обличителям, что, обличительствуя, славят они тем самым беспредельную силу тоталитаризма, явно завышая его унифицирующие возможности и принижая одновременно человеческое самостояние и ослушность?» Как и подобает настоящему интеллигенту, Игорь Александрович был скромным человеком, писавшим незадолго до кончины: «И хотя пели: «И вся-то наша жизнь есть борьба», я оставляю это слово в покое: до «борьбы» я никогда не дотягивал, надо было иметь другой характер, но слова «противостояние» и «сопротивление» с прибавкой «духовное», «нравственное» я осмеливаюсь применить, чтобы как-то определить линию поведения и свою и своих дорогих друзей и товарищей, которых я узнал в Костро-

ме» (как это опять-таки присуще Дедкову — нежелание выделяться, приковывать внимание исключительно к собственной персоне!).

Как видим, это «противостояние» осталось свойственно ему до самого конца. История отечественной культуры знает немало дневников, ставших подлинными памятниками времени при всей разительной разнице их создателей — от хладнокровных и осмотровых «показаний» чистейшего свидетеля событий А. В. Никитенко до уже упомянутого А. И. Кондратовича, который, равно как и его товарищ по редакции Владимир Лакшин, делал свои заметки буквально в горячке боя, где и сам сражался. Записи Игоря Дедкова не просто по праву «прирастают» к названным свидетельствам, но, думается, займут среди них своё особое место. Из далеко не прекрасного костромского «далёка» многое здесь увидено не только страстным участником литературной, да и общественной, именно *борьбы* (тут уж позволительно не согласиться с автором!), но и замечательно чутким и вдумчивым наблюдателем всей народной жизни, обступившей его в пресловутой провинции и своим «упрямым копошением» (его выражение) окончательно его доформировавшей.

И, быть может, лучшим эпиграфом к дедковскому дневнику могли бы стать слова, сказанные Игорем Александровичем ещё в первой «новомирской» его статье: «...Как не-

избежно и существенно меняется самый характер и направленность взгляда, когда жизнь, в которую ты входишь и к которой идёшь со своими нуждами и заботами, вдруг открывается тебе в её собственных заботах и нуждах, когда она хотя бы отчасти обнаруживает пред тобой свою внутреннюю многомерность».

### На рубеже веков

Глубокой осенью 1981 года я приехал в писательский «Дом творчества Дубулты» на Рижском взморье как один из руководителей проходившего там семинара молодых российских критиков. Уже находившийся там драматург Лев Устинов, давно знакомый по Литинституту, радушно меня встретил, усадил за свой стол в столовой и буквально в тот же день свёл с приятелем — Егором Владимировичем Яковлевым. Чтобы, в свою очередь, познакомить с ним тех читателей, которые, может статься, о нём, к сожалению, не знают, приведу строки, написанные почти четверть века спустя, в горькие дни прощания с человеком, с которым связана целая полоса моей жизни: «Отечественная литература знала многих великих редакторов — Новикова и Пушкина, Некрасова и Щедрина, Твардовского, наконец. Егор Яковлев, наверное, вспылит бы, знай он, что за высокую ноту я взял для начала этой прощальной заметки. Но ведь то были и впрямь его «предки», как и он, отдавшие долгие годы, а то и десятилетия этому труду — тяжкому, неблагодарному, но такому на-



сущному, особенно для нашей страны, веками обделённой другими видами общественной деятельности, помимо литературы. Когда-то, озирая пройденный путь, Некрасов писал с горечью: «Мне граф Орлов мораль читал, и цензор слог мой исправлял».

Егор Владимирович был бы вправе повторить эти слова, разве что фамилии назвал бы другие, скажем, своего тезки — Лигачева, портившего ему кровь даже в перестроечные времена. В прежние же, брежневско-сусловские, дело «моралью» не ограничивалось. Когда руководимый Яковлевым блестящий журнал «Журналист» открыто поддержал «Пражскую весну», в частности, в её борьбе с цензурой, это ему даром не прошло. В ту пору один из наших литературных мракобесов прославился фразой, что, прежде чем в Прагу, танки надо было ввести в журнал Твардовского. «Новый мир» тогда уцелел, а вот Яковлева «танки» из «Журналиста» выдавили и надолго загнали на второстепенные роли. Правда, он и тогда умудрялся блеснуть выдумкой, ощепиниться колючим ежом — кого поддерживать, а кому встать поперёк накатанной карьерной дороги. Но сколько его идей, замыслов, проектов не находило выхода больше полутора десятилетий, стало ясно, когда в горбачевские годы он променял завидную для многих должность зарубежного корреспондента на пост редактора безвестной дотолы газеты «Московские новости». Она заговорила его страстным голосом, обросла новыми

талантливыми сотрудниками и авторами. За ней уже вставали в очередь, к ней жадно прислушивались, на неё равнялись. А когда на и без того трудной дороге преобразований возник заслон пресловутого ГКЧП, не кто иной как Яковлев объединил коллег для печатного отпора, сопротивления ему. И бывшая лишь мимолётным эпизодом этой борьбы «Общая газета» вскоре стала новым домом неугомонного редактора. Прервусь на этом, чтобы вернуться в те времена, когда, гуляя по опустевшим пляжам Рижского взморья, мы говорили и об усиливающемся застое (как раз в те дни было объявлено военное положение в Польше), и обо всей нашей многострадальной истории.

Через два года Егор, как я здесь стану далее называть его по праву завязавшихся тогда добрых отношений, напечатал в «Известиях», где возглавлял отдел коммунистического воспитания, мою статью о Доросе (в связи с юбилеем давно покойного писателя) и почти сразу предложил мне вести постоянную рубрику, посвящённую новым книгам. Я несколько насторожённо предупредил, что не хочу и не буду отзываться на сочинения «руководящих» писателей, на что получил ответ, что можно же писать о самой разной литературе.

Времена стояли такие, что эта затея чуть не оборвалась на первых же порах. Третьей по счету моей колонкой должна была стать рецензия на книгу Дмитрия Сергеевича Лихачева. Но вот приходит Егор к ответственным

ному секретарю газеты (и своему близкому другу!) Игорю Нестеровичу Голембиовскому и вдруг видит на столе гранку этой рецензии с резолюцией: «В разбор». Что? Как? Оказалось, заведующий литературным отделом Г. Г. Меликянц, вообще, по-видимому, ревновавший к яковлевской новации, снаушничал, что Лихачев, дескать, на дурном счету у начальства (видимо, имелся в виду секретарь ленинградского обкома Романов) и совершенно не к чему пропагандировать его сочинение! Ну ладно, с этим Егор управился. Но вскоре уже заместитель главного редактора Лев Корнешов на редакционной «летучке» тоже навалился на «новорождённую». И тут Егор дал противникам решительный бой, зафиксированный в стенографическом отчёте следующим образом: «Должен сказать вам, что, когда... задумывалась эта рубрика, я далеко не был уверен, что она получится. Прежде всего, мне казалось невероятным, что найдётся автор, непременно известный, уважаемый, который будет готов ради нас отдавать, примерно два-три дня в каждой неделе: новую книгу надо найти и её надо прочитать, и надо написать рецензию. Поверьте мне, писать рецензию на трёх страницах значительно труднее, чем на десяти... С самого начала, с первого появления этой колонки, было огромное количество замечаний, сложилась атмосфера не поддержки нового дела, а максимального неприятия его, то есть та атмосфера, когда,

выслушав бесконечный поток замечаний, надо плюнуть на новое дело и махнуть на него рукой. Не буду перечислять всё, что было, напомним лишь, что то требовали план рецензий на месяц вперёд, не считаясь с тем, что это действительно новинки недели, а не давно появившиеся издания, то требовали на прочтение книгу, прежде чем писать рецензию, хотя целый ряд выступлений Туркова делался по вёрстке, подписанной в печать...

Наконец дошло до того, что... Лев Константинович Корнешов заявил, что от колонок Туркова пахнет русофильством, а публикация их весьма чревата для редакции. Я тешу себя надеждой, что Лев Константинович не понимает смысла этого термина — «русофильство»... И я не могу понять, почему обращение к публицистике Карамзина, размышления о судьбе маленького города вызывают подозрения в русофильстве». Далее шла пламенная, хотя и приправленная гиперболами, речь о «боевом прошлом автора», который, дескать, на фронте вступил в партию (чего отродясь не бывало, но ведь поди ж ты — уже в новейшие времена Сергей Иванович Чупринин станет каяться, что в словаре писателей тоже зачислил меня в члены КПСС. Вид, что ли, у меня такой — большевистский?!) Одним словом, колонка прижилась, тем более, что новый шеф газеты, Иван Дмитриевич Лаптев, её весьма одобрил. Помню довольно комичный разговор с секретарём Союза писате-

лей по критике В. М. Озеровым, который всякими околичностями старался выведать, кто же мне «ворожит», ибо иначе это еженедельное «явление Туркова народу» представлялось ему совершенно необъяснимым. За 1984–1993 годы в «Известиях» опубликовано около двухсот «колонок Туркова», как выразилась в отзыве поэтесса Татьяна Бек, а с 1991 года там же печатались и мои литературно-публицистические статьи.

Признаться, никогда в жизни не было у меня такой свободы и «оперативного простора»! Та же Татьяна Бек, упомянув: я ставлю в особую заслугу знаменитому сабашниковскому издательству то, что оно открывало перед читателями «все новые области знания и талантливые имена», писала: «Это и стало своеобразной программой самого А. Туркова в его работе... в отборе книг для рецензирования, в акцентах внутри каждого материала». Писавшие об этой колонке отмечали: одна из её ведущих тем — это «историческая память, причём не только парадные её стороны, но и забытые, искажённые, теневые».

«Страшна эрозия почвы, — говорилось в одной моей рецензии. — Но опасна и эрозия памяти, когда порой целые пласты минувшей жизни, куда уходят корни многих мыслей и дел потомков, оказывались как бы не существующими».

Действительно, ведь в ту пору читателю не был ещё в достаточной мере возвращён даже Карамзин с его великим трудом — «Историей

Государства Российского», ни, тем более, кропотливый исследователь московской старины Иван Забелин или «провинциал» Афанасий Шапов с его трагической судьбой. Лишь робко, глухо, невнятно упоминались такие яркие и жестоко пресечённые в сталинщину явления искусства как деятельность Всеволода Мейерхольда и так называемый второй МХАТ. Когда я заговорил о последнем в рецензии на книгу Софьи Гиацинтовой, то получил взволнованное письмо бывшей актрисы этого театра А. Образцовой (жены создателя знаменитого Театра кукол): «...С той поры (как его закрыли — А. Т.) никто добрым словом не отзывался о нашем театре». Она горестно вспоминала их последний спектакль: «Закрыли занавес и больше не разрешили его раскрывать, хотя публика требовала. Капельдинерам было велено поскорее выпроваживать публику. За закрытым навеки для нас занавесом стояли все актёры. Помню, как плакала Гиацинтова». Неизменно получали отклик в колонке книги и мемуары не только о героях Великой Отечественной войны, но и о её нескончаемых жертвах — безутешных матерях и вдовах, о «поседелом детстве», о подростках, которые не по возрасту рано встали к станкам и «отдали Отечеству не золото-серебро — единственное детство, всё своё добро», как сказано в прекрасных стихах Бориса Слуцкого, или даже занимались поистине ратным трудом, как герои одного очерка, разминировавшие восемьсот

восемьдесят (!) гектаров колхозных полей, хотя «по всем правилам — раз пятьдесят должны были подорваться». Даже неполный перечень «персонажей» известинских колонок может дать определённое представление о постепенно складывавшейся перед их читателем картине отечественной (хотя и не только...) культуры: и это не одни классики «первого ряда», но и Николай Новиков, в чьём лице, по выражению Ключевского, «неслужащий русский дворянин едва ли не впервые выходил на службу отечеству с пером и книгой», и скромнейший Яков Полонский, чей поэтический костёр светит нам доньне, и оба Якушкины — декабрист и бродяга-фольклорист, и Аксаковы, и Пётр Лавров, и ещё недавно начисто отлучённый от родины Павел Милюков, и другой опальный — Виктор Некрасов, и не согнутый десятилетиями лагерей и тюрем прекрасный писатель Олег Васильевич Волков — а скольких достойнейших имён я ещё не назвал!

Побывали «в гостях» у колонки и такие замечательные (а то и гениальные) художники как Нестеров, Васнецов, Врубель, Борисов-Мусатов, Кустодиев, Добужинский, Кузьмин (к тому же, чудесный мемуарист), Владимир Фаворский, и целое театральное созвездие (как называлась книга Александра Мацкого об этих людях): Станиславский, Михаил Чехов, Сергей Образцов, Цецилия Мансурова, Евгений Вахтангов, Алексей Дикий, Андрей Лобанов, Эраст Гарин...

Доброе слово, как известно, и кошке приятно. И радостно вспомнить, что после появления рецензии на другую книгу Мацкого — «Гоголевские фейерверки» — старый и больной автор вновь уселся за письменный стол.

Надо ещё сказать, что известинская колонка была для меня спасительной отдушиной в последние «застойные» годы, когда и в литературной критике воцарилась удушливая атмосфера беспардонного восхваления сановных писателей, боязни словечко сказать «против шерсти» и вообще чем-либо возмутить стоячие воды идеологического болота. Через год после начала перестройки главный редактор «Литературного обозрения» Леонард Лавлинский с горечью писал, что даже его специализированный (целиком состоявший из критических статей) журнал «не смог, к примеру, опубликовать некоторые едкие заметки А. Туркова из-за того, что одновременно в них задевалось несколько ответственных лиц». Хорошо ещё, что некоторые заметки «отважились» напечатать другие издания, например, «Литературная учёба», приютившая статью «Похвала наповал». Другие же вылёживались годами. Даже «Известия», почти безотказно помещавшие тогда всё, выходящее из-под моего пера, в первые годы перестройки однажды струхнули. Правда, поначалу тогдашний глава отдела фельетонов Владимир Наедин, прочитав присланный ему материал, сгоряча позвонил Нине

и сказал, что назавтра я проснусь заменитым.

Но... долго это завтра не наступало! Советовались, обкатывали, смягчали, сокращали — и так и не решились. Приведу этот злополучный текст (тем более, что он невелик), обошедший несколько редакций и увидевший свет только летом 1987 года. Встретившись тогда со мной, Татьяна Бек уверяла: давно так не смеялась. А мне было грустно: даже и теперь из текста исчезли некоторые строки.

### **Не домурлыкаться бы...**

«Поглаживая развалившегося у него на коленях и ласково мурлыкавшего ёжа...»

— С ума сошёл! — решит читатель — Ёж у него замурлыкал! «Поглаживая...» Про иголки-то забыл?

А если я фигурально — про ту самую критику, которую когда-то с этим симпатичным зверьком сравнивали? И ведь верно — когда ей что-то не нравилось, критика выставляла иглы и кололась. Только недаром все эти глаголы употреблены тут в прошедшем времени. Похоже, что вынужденный по временам недовольно поглаживать свербившие места писатель вознегодовал: что такое! Ни тебе сесть-посидеть спокойно или, упаси Бог, почивать на лаврах! А ведь такие успехи наука делает, всякая там селекция, генная инженерия — вот и вывели бы кого-нибудь попокладистее! Скоро сказка сказывается, однако и дело, случается, её обгоня-

ет. Откроешь нынче журнал, другой, заглянешь в соответствующие разделы — и что же видишь?! Мурлычет брат-критик, прямо-таки трётся о нумеральную писательскую ногу:

— М-м-могуче, м-м-могуче написано! Кла-а-асик вы, уважаемый, кла-а-асик! Мур-мур-мур... Про одного из наших прозаиков знаете, как другой прозаик выразился? «Нанизывает на золотую нить новые и новые драгоценные жемчужины» своих романов! Куда уж мне, ежу стриженому! Правда, на юбилее это было сказано, в день, как говорится, заслуженных преувеличений (оттого и об имени умолчим)<sup>3</sup>, но, по моему разумению, и в будни подойдёт! Кла-а-ассик!

И — шась к другому автору.

— Читали, как я о вас? «Карюха стало именем нарицательным вслед за Холстомером и Каштанкой...» (Читатель, конечно, помнит, что Лев Павлович... то бишь Антон Николаевич... простите, вконец запутался! — Михаил Николаевич Алексеев написал повесть о лошади Карюха. Так это о ней).

Или вдруг о поэте узнаёшь, что он «стал истинным проводником общенародного, общенационального, общегосударственного чувства», что «мнение народное» «поддерживает высоту и крепость его голоса», что его «широко и чисто звучащее сло-

---

<sup>3</sup> В оригинале говорилось: «М-м-марковский, м-м-марковский совершенно стиль! А о Георгии Мокеевича, знаете, как Павел Загребельный писал?» Но это-то редакция «ЛГ» уже не вынесла.

во — верное «эхо русского народа»...

А? Что? Мы, видать, невзначай с печатных страниц в какой-то банкетный зал соскользнули? За что пьём? С какой это я датой позабыл поздравить Владимира Фирсова, которому, видать, по такому случаю столь щедро «передарили» слова, сказанные о себе юным Пушкиным («И неподкупный голос мой был эхо русского народа»)? Испуганно листаю литературную энциклопедию... Фу, отлегло: Владимир Иванович ещё на весьма дальних подступах к юбилею. Перед нами, так сказать, первая примерка будущего праздничного костюма... Или даже памятника? Вы скажете: серьёзный писатель должен быть смущён подобными поцелуями. Ну, а если дрогнет? Если кокетливо разведёт руками, подобно одному современному драматургу перед восторженной поклонницей: «Я уж даже старался как-то написать плохо — не могу!»<sup>4</sup>

Или даже величаво выйдет на трибуну и молвит: «Хочу сказать о своей сестре — краткости... Мы с Антоном (да Чеховым же!) всегда говорили, что краткость — сестра таланта...». Ох, не думурлыкаться бы до такого!

Любопытно: даже в январе «перестроечного» 1986 года главный редактор «Литературной газеты» А. Б. Чаковский категорически отверг мою статью «Дальнобойное слово», посвящённую 100-летию со дня рождения Салтыкова-Щедрина, сняв её из уже готового номера. Сатира писателя,

действительно, была по вполне современным мишеням. Михаил Евграфович как будто предсказывал, с какими препятствиями столкнутся начатые преобразования. «...Устаревший писатель», — говорилось в этой статье, — незаменимый, ежедневный могучий союзник, подчас далеко опережающий нас и в быстроте реакции на совершающееся именно сейчас, и в глубине понимания психологии старого «ехидства», угадываемого сатириком под наисовременнейшим, по самой последней моде сшитым костюмом. Нужды нет, что тут же, в этом самом мундире, ненавистник замышляет пакость тому самому делу, в пользу которого он парадно вырядился, — повторяем: эта пакость совершится за кулисами, на заднем плане, на сцене же будут красоваться все внешние признаки преданности делу...»

Спасибо за предупреждение, Михаил Евграфович, ведь и правда...

«В это время около нас остановилось ещё два собеседника. По внешнему виду это были два канцелярских политика, но не из высших, а так, второго сорта.

— Ну-с, как-то с новым начальством служить будете? — спросил один.

— А что?

— Как «что»?! Да ведь, чай, новые порядки, новые взгляды... всё новое!

— А мне что за дело?

— Как же не дело! Велит писать так, а не иначе... небось не напишете?

— Напишу!

— Чай, тоже неприятно!

<sup>4</sup> Слова Цезаря Солодаря.

— Ничего тут неприятного нет, по-  
тому что совсем не в том дело.

— Да в чём же?

— А в том, во-первых, что я могу  
написать разное: могу написать убе-  
дительно и могу написать неубеди-  
тельно... А во-вторых, неужто вы так  
наивны, что до сих пор не знаете, что  
эти дела обдeldываем мы!

— Как так?

— Очень просто. Я напишу проект  
точь-в-точь такой, как приказывает  
начальство; от нас он идёт на заклю-  
чение к г. Х. Я тотчас же еду к Семёну  
Иванычу, который к г. Х. находится  
точь-в-точь в таких же отношени-  
ях, как я к своему, и говорю: «Семён  
Иваныч! К вам поступает наш  
проект, так уж, пожалуйста, вы его  
разберите!» «Хорошо», — отвечает  
мне Семён Иваныч; и действитель-  
но, через месяц проект возвращается  
к нам, разбитый в пух на всех пун-  
ктах». Но, однако, что это? Насме-  
шливо острый взгляд писателя на  
сей раз обращён уже на нас самих  
и высвечивает нечто такое, что, увы,  
никак нельзя не признать нам свой-  
ственным: «Мы склонны раздражать  
себя всякого рода утопиями... Мы  
охотно перескакиваем через все пре-  
пятствия (в мыслях — А. Т.), устраня-  
ем подробности процесса и заранее  
наслаждаемся уже концом не нача-  
того ещё дела». О, Господи, — думаю  
я нынче, — будто он предвидел наши  
ликующие возгласы о том, что «про-  
цесс пошёл»!

Нет, никак не мог старый лис Ча-  
ковский потерпеть такого вмеша-

тельства в современность! Человек  
с гибкой, услужливой спиной ме-  
трдотеля, как, помните, однажды  
выразилась Нина, не посмел подать  
к столу все эти «ядовитые» блюда,  
словно только что изготовленные  
сатириком и чуть ли не прямо адре-  
сованные покровителям Чаковско-  
го из числа кремлёвских старцев  
(«Какая преклонность лет! — кипит  
у Щедрина от возмущения один пер-  
сонаж, — и всего-то по формуляру  
семьдесят пять лет значит! В самой  
ещё поре!»).

Увы, минет время, и щедринская  
артиллерия накроет уже совсем но-  
вёхонькие цели — скажем, проекты  
ельцинских министров, в которых,  
говоря словами сатирика, реформа-  
торские затеи счастливым образом  
сочетаются... с тем благосклонным  
отношением к жульничеству, кото-  
рое доказывает, что жульничество —  
сила, и что с этой силой необходимо  
считаться».

И вообще о судьбе перестройки  
и, в частности, гласности, трудно  
сказать точнее, чем опять же ще-  
дринскими словами: «Что было по-  
том — лучше не вспоминать. Скажу  
одно: человеку, который гордо шёл  
в храм славы и вместо того попал  
в хлев, — и тому едва ли пришлось ис-  
пытать столько горечи». Короткая, но  
драматическая эпоха 1985–1991 го-  
дов ещё долго будет ставить в тупик  
историков и тревожно вспоминаться  
людьми, пережившими её. Она поро-  
дила великие надежды, но не только  
не оправдала большинство из них, но

во многом имела самые катастрофические последствия. Значительную часть людей, в особенности — интеллигенцию, поначалу охватила эйфория, подобная «оттепельной». Я вновь ощущаю это, перечитывая некоторые собственные статьи первых перестроечных лет, носящие характерные названия — «Так держать!», «Идти, не останавливаясь». Последняя обязана названием словам Льва Толстого из его письма Герцену об опасных созерцателях реформ шестидесятых годов XIX века: «...Эти люди — робкие — не могут понять, что лёд трещит и рушится под ногами — это самое доказывает, что человек идёт, и что одно средство не провалиться — это идти не останавливаясь». Лед-то трещал ещё под бравурные марши и звонкие рапорты брежневских времён, и смешно думать, что всё началось только исключительно из-за «торопливой» горбачевской походки. Беда была в том, что походка была не только торопливой, но неуверенной, спотыкающейся, а маршрут — недостаточно продуманным.

Что говорить, наследство Горбачёв получил прескверное, но когда в одном писательском выступлении ему позже был брошен упрёк, что принятое им напоминает движение самолёта, не знающего, куда он летит, с этим теперь трудно не согласиться (из чьих бы уст сказанное не исходило). И снова на ум приходит Щедрин со своими, увы, не услышанными советами: «Разделять одну и ту же задачу на две половины, из которых на

одну соглашаться, а другую игнорировать — значит добровольно обманывать самих себя». Вот и мы — гласностью упивались, а с экономикой не знали, что и делать, то её «ускоряли», то очередной раз начинали преследовать «частников», то руками партийных соперников генсека подымали на него «гегемона» — рабочий класс.

С ним всю историю советской власти заигрывали (одновременно жестоко эксплуатируя!). «Признаюсь, мне давно уже не по душе броское «эффектное» выражение «Его Величество Рабочий Класс», — писал я в самом начале перестройки. — Ведь там, где Его Величество, там легко зарождается лесть, там возникает чрезвычайно убыточная и для литературы, и для жизни «промышленная» отрасль — производство оди и мадригалов, монументальных статуй с орлиным взором и молотом за плечами». Вскоре к «Его Величеству» воззвали во внутрипартийной борьбе: против Горбачёва были все средства хороши, вплоть до разнузданных всеобщих забастовок! Мне до сих пор удивительно, что тогда, в апреле 1991 года, «Известия» напечатали мою, на сей раз отнюдь не литературную колонку — «Бульжник — орудие пролетариата?»:

«Бульжник — оружие пролетариата» — так называлась известная скульптура Шадра. В замысле скульптора было показать героизм самоотверженного противостояния безоружного труженика громаде самодержавного государства. Од-



нако логика подлинного искусства нередко ведёт дальше, чем первоначально ставил своей задачей сам художник, и открывает новый смысл в избранном им сюжете. Шадровский пролетарий не картинен, увиден без прикрас. Эта фигура с её мрачной, отчаянной готовностью прибегнуть к единственному своему «оружию» скорее заставляет задуматься о такой человеческой обделённости, когда не жаль не только себя, а не мил весь мир, воспринимаемый лишь как невыносимая тяжесть, сгибающая тебя в три погибели. Шадровский герой — это словно бы взбунтовавшийся атлант, который ещё недавно угрюмо и покорно держал на своих плечах постройку, а теперь бросил ношу и с мстительной радостью готов увидеть, как обрушится все здание.

Смотришь на эту скульптуру и, кажется, слышишь не только свист камней, летящих в жандармов или казаков, но и гул пламени, пожирающего уже не одни полицейские участки и тюрьмы, но и прекрасные дома и дворцы, некогда построенные крепостными мастерами, картины великих художников, библиотеки и прочее, якобы, «барское» добро. Неохота соглашаться, когда ныне революцию нередко целиком уподобляют пожару и разору, но и забывать о том, что она способна обернуться этим страшным ликом, не стоит. В своё время вожаки большевистской партии пренебрежительно отмахнулись от «панических» предостережений, что они смешивают государство с носителями власти,

ради подрыва позиций правительства разрушают стачками хозяйственную основу страны и подрывают «самую основу культуры — дисциплину труда», как писал Пётр Струве. Увы, разрушительный булыжник «экспроприации экспроприаторов» (в русском переводе — «грабь награбленное»!), освящённых идеологией жестоких самосудов, изгнания или «перевоспитания» буржуазных «спецов» с тех пор наделал дел и, казалось бы, должен оставить по себе недобрую память. Несколько десятилетий «его величеству рабочему классу» бесконечно льстили и одновременно втирали очки. На политической сцене разыгрывался новый вариант андерсеновской сказки о голом короле, якобы роскошно разодетом. И вот, окончательно осознав, что гол, мнимый монарх рефлекторно и яростно схватился за тот же булыжник. Легко понять чувства людей, кидающихся в забастовки. Но ведь этот булыжник в наш век стал куда тяжелее и опаснее, чем был; и, нацеленный во власть, в подкачавших лидеров, осточертевшую бюрократическую волокиту, по-прежнему норовит угодить в государство, общество, весь народ. Боязно сказать, но иные массовые акции последнего времени вызывают опасливое воспоминание о том басенном персонаже, который «увесистый булыжник в лапы сгрёб... и, друга на лбу подкарауля муху, что силы есть — хватя друга камнем в лоб!».

...Неужто мы не в силах осознать, что... разноликий булыжник — совсем

не радостное свидетельство нашей демократической зрелости, не один из моментов капитального ремонта нашего общего дома, а весьма эффективное средство его разрушить?» Некогда Щедрин писал о том, как порой выпцвetaет, выхолащивается или даже превращается в свою противоположность, присваивается чужими, грязными и алчными руками «хорошее слово» — прогрессивная идея, доброе начинание. На нашей памяти это происходило не раз. Пришёл черёд и «перестройке», «реформам», «демократии». Очищение идеалов социализма диковинным образом обернулось их поруганием и отвержением; борьба с неравенством, антидемократизмом, пресловутыми привилегиями для «верхов» — колоссальным имущественным расслоением, нищетою миллионов людей; «ускорение» экономического развития — катастрофическим спадом производства и гибелью научно-технического потенциала. Во многом это подготовлено и обусловлено всей предшествующей «циркуляцией» существовавшей социально-экономической системы. Почему я прибегнул здесь к горестно-ироническим кавычкам? Циркуляция, круговращение крови в человеческом организме обеспечивает необходимый обмен веществ между тканями и внешней средой — снабжение органов кислородом, выведение углекислого газа, терморегуляцию. У нас же в общественном организме циркуляция всё чаще и больше нарушалась, живительного притока «кислорода»

новых идей в самые различные органы, начиная с руководящего «мозга», поступало всё меньше. Всё более склерозировавшаяся система самоубийственно отвергала всё свежее, спасительное, способное обновить и улучшить существующий порядок, и так же вытесняла людей, которые в её глазах хотя бы в какой-то степени воплощали эти беспокойные деяния. Если говорить о так называемом верхнем эшелоне власти, то — пусть в сравнительно мягком варианте — это произошло с Косыгиным и его довольно скромными реформаторскими поползновениями. В нижних же звеньях с «еретиками» расправлялись, не церемонясь, как, например, с агрономом Худенко, из-за своих нововведений окончившим жизнь в тюрьме. Что касается литературы, то «нет повести печальнее на свете», чем история журнала «Новый мир» и его многолетнего редактора Александра Твардовского, не только искренно веровавшего (до поры) в социализм, но и всемерно стремившегося способствовать его развитию и очищению. Все его попытки дать больший простор самостоятельной мысли и действительно реалистической литературе встречали яростное неприятие, и дело завершилось отрешением великого поэта от должности и скорой его смертью. Выше уже упоминалось о подобных же злоключениях Егора Яковлева. Поучителен и пример тоже ныне покойного критика Игоря Александровича Дедкова, который был в столичном университете одним из

вожаков молодёжи, но после окончания университета был спроважен подальше от центра событий, в Кострому. Потребовались годы, чтобы благодаря своему таланту и работоспособности Игорь Александрович сумел — даже в застойные годы — выбиться в первый ряд критиков и активнейшим образом способствовал, по выражению Щедрина, «расширению арены реализма в литературе». Казалось бы, перестройка и дальнейшая ликвидация угнетавшей его системы предоставляли Дедкову ещё больший простор для деятельности: наперебой звали в столичные редакции, вернули в Москву, даже пост министра культуры предлагали. Однако и в эпоху, наступившую после распада СССР, судьба этого человека оказалась драматичной, и я к этому сюжету скоро вернусь. Знаменитый русский историк С. М. Соловьев иронически вспоминал, как во «взбалмученном море» шестидесятых годов позапрошлого века вдруг «из либерала, нисколько не меняясь, стал консерватором». Подобное испытали и некоторые из нас, в том числе Дедков. И чтобы передать чувства, нами тогда владевшие, приведу сказанное в моей статье, напечатанной в начале драматического 1991 года как раз в журнале, в котором уже работал Игорь и который пока ещё носил прежнее название — «Коммунист», но уже освободился от своей прежней лютной ортодоксальности и вскоре стал по праву именоваться «Свободной мыслью»: «Все воспомина-

ются стихи «немодного» нынче поэта: «Лошадь на круп // грохнулась. // И сразу //за зевакой зевака, // штаны пришедшие Кузнецким клешить, // сгрудились. // Смех зазвенел и зазвякал: // Лошадь упала! —// Упала лошадь!». Что-то похожее и нынче происходит. Общественный строй, который десятилетиями непрерываемо объявлялся абсолютным благом, величайшей победой или, на самый худой конец, — чрезвычайно удачным экспериментом, обнаружил свои катастрофические изъяны и пороки. Зашатались — и в фигуральном, и в буквальном смысле — пьедесталы его пророков и устроителей. И, кажется, уже только ленивый не пульнет в них и в тех, кто пошёл за ними, ехидным словом или прямой издёвкой.

...У самых благородных и великих идей складывалась в истории человечества нелёгкая, а то и просто трагическая судьба. Об этом надо помнить. Знали они и страшные катастрофы, и самые чудовищные метаморфозы. При желании можно по этому поводу вволю поглумиться (за примерами подобного рода и в наши дни далеко ходить не надо!). А можно — и необходимо! — снова и снова пытаться разгадать, почему самые лучшие человеческие устремления в который раз терпят неудачу, как бы искривляются, деформируются.

«Мы смеёмся над Дон Кихотом... но... кто из нас может, добросовестно вопросив себя, свои прошедшие, свои настоящие убеждения, кто ре-

шится утверждать, что он всегда и во всяком случае различит и различал цирюльничий оловянный таз от волшебного шлема? Мы сами на своём веку, в наших странствованиях — видали людей, умирающих за столь же мало существующую Дульцинею или за грубое и часто грязное нечто, в котором они видели осуществление своего идеала и превращение которого они также приписывали влиянию злых, — мы чуть было не сказали: волшебников — злых случайностей, — печально констатировал Тургенев ещё в середине позапрошлого века и тут же, казалось бы неожиданно, и, к вящему огорчению современных скептических умов, заключал: — Мы видели их, и когда переведутся такие люди, пускай закроется навсегда книга истории! В ней нечего будет читать». И эта мнимая непоследовательность старого «прекраснодушного» писателя, по мне, куда предпочтительнее нашего головокружительного большого скачка от одически восторженных гимнов всему происходившему, стоголосым хором перепевавших: «Куда ты скачешь, гордый конь, и где опустишь ты копыта?.. Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка, несёшься?» и т.п. и т.д. — к ехидному ёрническому улюлюканью: «Лошадь упала! Упала лошадь!» — заканчивалась моя статья. На смену горбачевской нерешительности, неторопливости пришла лихорадочная ломка и государства, и всего недавнего уклада, а следом — переоценка ряда

принципов и убеждений. Вновь, как в позапрошлом веке, в России, по толстовскому выражению, всё перевернулось. Прежде преданная анафеме частная собственность не просто справедливо восстановлена в правах, но стала предметом форменного идолопоклонства, когда чуть ли не все её проявления возводятся на пьедестал и объявляются предметом для подражания.

Между тем, век с лишком назад философ Владимир Соловьев писал: «собственность сама по себе не имеет ничего абсолютного... Это — ни священное благо, которое надо защищать любой ценой и во всех его проявлениях, ни зло, которое должно обличить и уничтожить. Собственность — относительный и обусловленный принцип, который должен подчиняться принципу абсолютному — принципу нравственной личности».

Какое там! Последний принцип нынче в явном загоне. Как бы ни был зыбок и часто даже лицемерен якобы общенародный характер общественной собственности в СССР, гайдари-чубайсовскими реформами она была фактически отдана, говоря по старинке, на поток и разграбление. И ни «практики» приватизации (справедливо переименованной на родом в прихватизацию), нажившие на ней баснословные капиталы, ни «теоретики», спланировавшие и запустившие её в ход, нравственной стороной дела нисколько не были озабочены.

Когда Егора Гайдара спросили, не опасался ли он братья за реформы, он эффектно изрёк, что хирург не должен приступать к операции, если у него дрожат руки... Но вот операция прошла, и не сказать, чтобы так уж удачно. Помимо выигравших от неё, есть не просто проигравшие, но и вовсе выбывшие — не из игры — из жизни. Чеховский доктор Астров, усталый, опустившийся человек, аттестующий себя циником, тем не менее, мучится неотступным воспоминанием, как у него ещё «в великом посту (а действие пьесы «Дядя Ваня» происходит много позже, летом — А. Т.) ... больной умер под хлороформом». Современный же «хирург» сколько уж раз за минувшие годы писал и рассказывал о проделанной «операции» — и на челе его высоком не отражалось ничего! Остановившиеся заводы? Заросшие сорняками, брошенные поля? Учителя в обносках? Дрожащие руки, тянущиеся за подаянием? Что ж такого! Лес рубят — щепки летят!

Подобное, почти сталинское хладнокровие — вещь заразительная. И социологические опросы начинают сигнализировать, что «здоровый индивидуализм» всюду теснит «отсталый», «совковый» коллективизм и всякое там «чувство локтя», и что немало людей решительно отдают предпочтение собственному преуспеянию, чужим же существованием и горестями мало озабочены. Есть мнение, что это неплохо: развивает целеустремлённость, жизнестой-

кость! Вот и один молодой политик, стыдясь за наше «варварство», вздыхает по западным «добродетелям»: «Первая — чрезвычайный прагматизм. Вторая — достаточная прямолинейность и устремлённость к цели... Они гораздо большего в своей жизни могут добиться», — заключает господин Немцов.

А мне вспоминаются слова из дневника Михаила Пришвина: «Боже мой, что было бы на земле, если бы каждый сельский хозяин ясно и точно видел цель свою: свиную тушу и больше ничего. Не было бы Руссо, Толстого, Аксакова, русского народа, старинных усадеб, воспоминаний, да ничего не было бы: поели бы и ещё откормили, и ещё поели, и так бы шло». Разве тут речь только о сельском хозяйстве и свиной туше? Замените «сельского хозяина» лощёным менеджером или процветающим банкиром, суть останется та же! Почти двести лет назад, в момент, когда многие мечтали о революции, Щедрин написал: «...Мало сознавать ненужность и вред предрассудка (эвфемизм, обозначающий устаревший общественный порядок — А. Т.), а нужно ещё прийти к убеждению, что силы, необходимые для его сокрушения, имеются в наличности, и притом для того, чтобы надолго не скомпрометировать дорогого дела».

События следующего века в России горестно подтвердили справедливость этого трезвого предостережения, высказанного задолго до того, как стали бурно дебатироваться во-

просы о своевременности революции в России, а позже — построения социализма в одной стране. Нынешний «отлив» от марксизма и всяческое поношение социализма вообще горестно демонстрируют, как трагически и основательно скомпрометировано, в сущности, не перестающее быть «дорогим» дело установления справедливости<sup>5</sup>.

И волны этого отлива увлекают многих назад — к тем самым «предрассудкам», против которых издавна сражались отнюдь не самые бесшабашно-радикальные умы, будь это «предрассудок» монархизма или раболепное поклонение золотому тельцу. Несть числа как громовым анафемам социализму, так и умильным панегирикам «августейшим особам», «их императорским величествам», «рыцарям самодержавия», каковым новый директор нашего Литинститута Б. Тарасов объявил в своём двухтомном труде Николая I, благосклонно отозвавшись также о Бенкендорфе и Уварове, зато декабристов обвинив во всех смертных грехах. Некогда академик И. П. Павлов в сердцах заметил, что русский человек «млел» перед революцией.

---

<sup>5</sup> «...Как бы ни говорили сейчас о социалистической идее, какое бы поражение она ни потерпела, — говорила в одном интервью Светлана Алексиевич, — всё-таки она останется с человечеством... Как бы сейчас все ни молились на этот «рынок», всё-таки неравенство аморально... Что-то здесь не то: я в «Мерседесе», а ты не можешь ребёнку купить банан...».

Нынче «млеют» уже чуть ли не над временами крепостного права. «... Маятник качнулся — начали поэтизировать дворянство. Все дамы XIX века стали жёнами декабристов. Все мужчины — Андрееми Болконскими», — справедливо иронизирует популярный журналист А. Минкин. И продолжает: «Кого же это Пушкин называл «светской чернью», «светской сволочью»? Кто проигрывал в карты рабов? Кто травил крестьянских детей собаками, содержал гаремы? Кто довёл мужичков до такой злобы, что, поймав белого офицера, вместо того, чтобы гуманно шлёпнуть, они сажали его на кол?» Приведу лишь самый невинный пример. Писательница Л. Авилова, которую мы преимущественно знаем по её воспоминаниям о Чехове, так вспоминала о детстве, проведённом в дворянской семье: «Я боялась бабушку, отца, мать и наших бесчисленных, постоянно сменяющихся гувернанток. В то время было очень принято кричать. Не в ссоре, а выражая свой гнев на человека, который обязан был слушать этот крик молча, покорно, без возражений и объяснений. Часто у этих людей (сиречь прислуги — А. Т.) дрожали колени, искажалось от страха лицо: они были подчинённые, зависимые... «На кого?» — спрашивали мы, дети, друг у друга или у прислуги, спрашивали шёпотом, с испуганными лицами, как только начинался крик. Иногда нам отвечали, спокойно улыбаясь: «Ну, чего там? На Стёпку!» Всем казалось, что если

кричали на Стёпку, то это не имело никакого значения. Ему было лет тринадцать–четынадцать, он шлёпал босиком, у него была курносая, задорная физиономия, а на голове никогда не приглаженный хохол, за который его было очень удобно таскать. И я раз видела, как мой отец возил его за этот хохол по полу около своего кресла, и никогда не могла забыть возмущения и злобы, которые охватили меня. ... «Что, Стёпка, больно?» — спросила я его тогда, отыскав в чулане под лестницей, где он обычно ночевал. Он тряхнул головой, почесал чёрную пятку о свою коленку и засмеялся. «Щекотно!» — коротко ответил он... «Остриги свой хохол, — советовали ему, — не за что возить будет!» — «Ишь, а уши?», — горячо возражал он...». От властной бабушки перепалили подобные нежности даже любимому внуку: «Один раз она замахнулась на него, чтобы ударить, но он уклонился, а она ударилась об раскрытую дверь и сломала себе руку». Для полноты этой дворянской Аркадии не лишнее добавить, что «в доме не было ни книг, ни журналов, ни газет». А ну как «задорный» Стёпка дожил до 17-го года?! И, читая эгегические печатные вздохи по временам, когда, по почти молитвенному выражению писателя Бориса Васильева, «Россия жила по дворянскому менталитету», или заискивающие дифирамбы, говоря языком гоголевских персонажей, «Его Высокоблагородному Светлости Господину Финансову», с горечью видишь, как нарастает процесс «вымыывания» из нашей

жизни тех самых демократических и гуманных ценностей и идеалов, которые на словах провозглашаются. Да слышны ли нам, доходят ли до нашего сердца голоса, доносящиеся со страниц книг якобы «устарелых» классиков: «Прежде хоть что-то признавалось, кроме денег, так что человек и без денег, но с другими качествами мог рассчитывать хоть на какое-нибудь уважение; ну а теперь — ни-ни. Теперь надо скопить денежки и завести как можно больше вещей, тогда и можно рассчитывать хоть на какое-нибудь уважение. И не только на уважение других, но даже на самоуважение нельзя иначе рассчитывать» (Достоевский). «Мне хотелось бы перед смертью, — говорил Салтыков-Щедрин, — напомнить публике о когда-то ценных и веских для неё словах: стыд, совесть, честь и т.п., которые ныне совсем забыты и ни на кого не действуют». И до чего же «несовременно» выглядят слова Александра Блока о том, что «чин отношения к искусству должен быть высоким», какую иронию может вызывать подобный совет у многих сегодняшних телезвезд и газетчиков самых разных направлений! «Он кажется мамонтом. Он вышел из моды... Прошли времена — и безграмотно». Ведь как раз рекламный стиль вкупе с развязностью — весьма вольготно чувствуют себя в этих сферах, а вот сколько-нибудь серьёзный «чин» кажется скучным и неуместным. Сужу об этом не понаслышке, а и по соб-

ственному горькому опыту. Выше уже говорилось об известинской колонке «Книга недели», где к началу девяностых годов было опубликовано около двухсот рецензий. Однако вскоре, особенно с началом «реформ», словно какой-то песок стал попадать в отлаженный было механизм, и если новорождённая колонка, посвящённая видеофильмам, мягко говоря, сомнительных достоинств, получила статус максимального благоприятствования, то книжная стала буксовать неделями и месяцами, пока не прервалась совсем. Никогда не догадаетесь, что показалось редакции вовсе уж лишним и неинтересным: отзыв о прекрасном сборнике воспоминаний о Пастернаке, выпущенным издательством «Слово»! Хорошо ещё, что забракованную рецензию тут же опубликовала «Общая газета» Егора Яковлева. Зато «Известия» завели новую рубрику — «Гардероб», открыв её статьёй... «Платье для коктейля», а я как раз в те дни встретил у автора, ещё более «немодного» нежели Блок, Добролюбова, любопытные слова: «Бывает время, когда народный дух ослабевает, подавляемый силою победившего класса, естественные влечения замирают на время и на место их заступают искусственно возбуждённые, насильно навязанные понятия и взгляды в пользу победивших, тогда и литература не может выдержать; и она начинает воспевать нелепые и незаконные идеи побе-

дителей, и она восхищается тем, от чего с презрением отвернулась бы в другое время». Признаться, прочитав это, я подумал: «Не дай Бог!» Однако, увы, слишком многое в спешно и настырно навязываемом стране и народу образе жизни заставляет вспомнить и эти слова, и ещё другие, сказанные более века назад известным публицистом Н. К. Михайловским, который саркастически предрекал: «Нашему времени предстоит восстановить мораль господ... произвести «переоценку ценностей», признать «доброту» злом, а «злость» добром, упразднить любовь к ближнему и заменить её «любовью к дальнему». Дальние — это наше потомство, будущее человечество, которое станет более совершенным, если мы откажемся от покровительства слабым и дадим ход сильным». И вот уже не в меру пламенные защитники нынешних реформ, «шокотерапии» и т.п., когда им говорят о горестном положении стариков, с ясными глазами отвечают: «Зато наши дети будут жить хорошо!»

Нет, что-то здесь не то, повторю я вслед за С. Алексиевич. И не в одном только моральном отношении, но даже в расчёте, как ныне выражаются, «на перспективу»: не обернётся ли эта дорога к очередному светлому будущему каким-нибудь новым 2017 годом? Не накладно ли это для всех выйдет?